



Автобиография

Перевод с английского Т. Казавчинской, Н. Цыркун

Часть первая 1872—1914

Пролог

Ради чего я живу

ВСЮ мою жизнь пронизывали три страсти, простые, но неодолимые в своем могуществе: жажда любви, тяга к знанию и мучительное сочувствие к страданиям человечества. Как могучие ветры, носили они меня над пучиною боли, увлекая из стороны в сторону и порой доводя до отчаяния.

Я искал любви, прежде всего потому, что от нее душа кипит восторгом, безмерным восторгом — за несколько таких часов не жаль пожертвовать всей жизнью. Я искал любви и потому, что она прогоняет одиночество, страшное одиночество трепещущего сознания, чей взор устремлен за край Вселенной, в непостижимую безжизненную бездну. Наконец, я искал любви и потому, что в единении двух видел, словно на заставке таинственной рукописи, прообраз рая, открывавшегося поэта́м и святым. Вот что я искал и вот что в конце концов обрел, хоть это и напоминает чудо.

С не меньшей страстью я стремился к знанию. Я жаждал проникнуть в человеческое сердце. Жаждал узнать, почему светят звезды. Стремился разгадать загадку пифагорейства — понять власть числа над изменяющейся природой. И кое-что, правда совсем немного, мне удалось понять.

© Т. Казавчинская. Перевод (ч. I), 2000

© Н. Цыркун. Перевод (ч. II, III), 2000

Печатается в сокращении.

Любовь и знания — когда они давались в руки — влекли меня наверх, к небесной выси, но сострадание возвращало вновь на землю. Крики боли эхом отдавались в сердце: голодающие дети, жертвы насилия, беспомощные старики, ставшие ненавистным бременем для собственных детей, весь этот мир, где бескрайнее одиночество, нищета и боль превращают человеческую жизнь в пародию на самое себя. Я так хотел умерить зло, но был не в силах, и я сам страдаю.

Такова была моя жизнь. Ее стоило жить, и если бы я мог, охотно прожил бы ее сначала.

Детство

Самое раннее сохранившееся у меня воспоминание — это приезд в феврале 1876 года в Пембрук-лодж. Точнее сказать, самого приезда я не помню, но помню огромную стеклянную крышу лондонского вокзала, скорее всего Паддингтонского (показавшегося мне несказанно прекрасным), откуда я отправился в путь. Из того первого дня в Пембрук-лодж мне особенно запомнилось чаепитие в комнате для слуг — просторной, пустой, с массивным длинным столом, такими же массивными стульями и высоким табуретом. Тут пила чай вся прислуга, кроме экономки, повара, горничной и дворецкого — так сказать, местной аристократин, собиравшейся в комнате у экономки. Меня усадили на высокий табурет, и ясно помню собственное удивление: отчего это слуги не сводят с меня глаз? В ту пору я не знал, что представляю собой судебный казус, над которым уже ломают голову и лорд-канцлер, и знаменитый королевский адвокат, и другие почтенные особы, как не знал до определенного возраста и об удивительных событиях, предшествовавших моему появлению в Пембрук-лодж.

Незадолго до этого мой отец лорд Эмберли умер после долгой болезни, исподволь подтачивавшей его силы. Мать и сестра скончались от дифтерита примерно полутора годами раньше. Моя мать была деятельной, живой, острой на язык, серьезной, оригинальной и бесстрашной — такой она предстала предо мной со страниц своих писем и дневника. Отец, обладавший философским складом ума, посвятил себя науке и был человеком не светским, болезненным и педантичным. Как друг и последователь Джона Стюарта Милля, он отстаивал контроль над рождаемостью и избирательное право для женщин. Взгляды эти разделяла и его жена. Отстаивая противозачаточные средства, он лишился места в парламенте, матери тоже не раз доставалось из-за ее радикальных воззрений. На приеме в саду в честь королевы Марии герцогиня Кембриджская при виде моей матери произнесла в полный голос: «Я знаю, кто вы. Вы невестка¹. Но сейчас вы говорите как грязные радикалы и грязные американцы. Весь Лондон судачит об этом, во всех клубах это обсуждают. Надо бы задрать вам подол и проверить, стираете ли вы свои нижние юбки». А вот письмо от британского консула во Флоренции, которое говорит само за себя:

1. Т. е. невестка Джона Рассела, первого графа Рассела (1792—1878) — государственного деятеля, премьер-министра Великобритании от партии вигов (1846—1852, 1865—1866), министра иностранных дел (1860—1865). (Здесь и далее, кроме особо указанных случаев, прим. перев.)

Глубокоуважаемая леди Эмберли, я отнюдь не являюсь поклонником господина Мадзини. Напротив, его характер и принципы внушают мне брезгливость и омерзение. К тому же, как официальное лицо, я не могу служить посредником для передачи ему корреспонденции. Не желая, однако, проявлять по отношению к Вам неучтивость, я предпринял единственно возможный для себя шаг, чтобы доставить Ваше письмо по назначению, а именно – отправил его по почте на имя государственного прокурора Глэты.

Остаюсь преданный Вам Э. Паджет

У меня хранится принадлежавший Мадзини футляр для часов, который он подарил моей матери.

Она часто выступала с приветствиями на собраниях суфражисток и в одной из дневниковых записей отзывается о миссис Сидни Уэбб и леди Кортни – в связи с Поттеровской сестринской общиной – как о бабочках-однодневках. Впоследствии, познакомившись с миссис Сидни Уэбб¹, я ощутил огромное уважение к матери: какой требовательностью нужно было обладать, чтобы счесть миссис Уэбб ветреной особой! Однако из писем, адресованных ею, например, позитивисту Генри Крамptonу, видно, что ей не чужда была известная игривость и кокетливость; наверное, к миру она обращалась менее хмурой своей стороной – не той, что поверяла дневнику.

Отец был вольнодумцем и работал над капитальным сочинением “Анализ религиозных верований”, опубликованным посмертно. В его огромной библиотеке стояли книги по буддизму, труды по конфуцианству, патристика и многое другое. Почти все время он жил за городом и писал книгу. Но в начале супружества родители по несколько месяцев в году проводили в своем лондонском доме Динз-ярд. Мать и ее сестра миссис Джордж Хоуард (ставшая позднее леди Карлейль) держали соперничающие салоны. У миссис Хоуард можно было увидеть всех прерафаэлитов, а у матери – всех английских философов начиная с Милля.

В 1867 году мои родители побывали в Америке, где подружились со всеми бостонскими радикалами. Могли ли они предвидеть, что внуки и внучки тех самых пылких демократов обоего пола, чьим речам они рукоплескали и чьей победой над рабством восхищались, казнят Сакко и Ванцетти? Родители поженились в 1864 году, им было по двадцать два года. Как похвастал мой брат в своей автобиографии, на свет он появился через девять месяцев и четыре дня после свадьбы. Незадолго до моего рождения они переехали в совершенно безлюдное место, в дом, называвшийся тогда Рейвенскрофт (теперь – Клейдон-холл) и стоявший на крутом лесном холме, над обрывистыми берегами Уая. Именно оттуда, когда мне было три дня от роду, мама отправила следующий отчет своей матери: “В младенце восемь и три четверти фунта веса и двадцать один дюйм в длину, он очень толстый и уродливый и, как все говорят, очень похож на Фрэнка: такие же широко расставленные глаза и срезанный подбородок. Во время кормлений ведет себя совсем как Фрэнк. У меня сейчас много молока, но если ему не дать грудь сразу, или если у него газы, или что-нибудь еще такое, он впадает в ярость, верещит, сучит нога-

1. Супруги Сидни (1859–1947) и Беатрис (1858–1943) Уэбб – английские экономисты и историк; Сидни Уэбб – один из организаторов Фабианского общества.

ми и весь трясется от злости, пока его не успокоишь... Очень энергично задирает головку и водит глазками”.

К моему брату пригласили в качестве учителя серьезного исследователя Д. Э. Сполдинга — во всяком случае, на него есть ссылка в “Психологии” Уильяма Джеймса¹. Он был дарвинистом, изучал инстинкты у цыплят, которым разрешалось — дабы облегчить ему научную задачу — безобразничать и гадить повсюду в доме, включая гостиную. Он страдал открытой формой туберкулеза и умер почти вслед за моим отцом. Осыпаясь, видимо, на чисто теоретических предположениях, родители решили, что хотя ему как туберкулезнику не следует иметь потомство, несправедливо было бы обрекать его на воздержание. Посему мать предложила ему сожительство, хотя ни малейшего свидетельства о том, что это доставляло ей хоть мало-мальское удовольствие, я в ее бумагах не обнаружил. Такой порядок вещей продержался очень недолго, поскольку учрежден был вскоре после моего рождения, а мне едва исполнилось два года, когда матери не стало. Тем не менее отец и тогда не распрощался с учителем, а после его смерти выяснилось, что в завещании он назначил двух атеистов: учителя и Кобден-Сандерсона — опекунами своих сыновей, дабы уберечь их от ужасов религиозного воспитания. Но из его бумаг дедушка и бабушка дознались о том, что имело место между учителем и матерью, от чего, как истинные викторианцы, испытали шок. И решили, если потребуются, привести в действие закон, лишь бы вырвать невинных крошек из когтей безбожников. Злокозненные безбожники обратились за советом к сэру Хоресу Дейви (впоследствии лорду Дейви²), который заверил их, что дело они проиграют — скорее всего, по аналогии с судебным процессом Шелли³. Таким образом, мы с братом были определены под опеку канцлерского суда, и в день, о котором я уже рассказывал, Кобден-Сандерсон передал нас с братом дедушке и бабушке. Немудрено, что вся эта история подогрела интерес слуг к моей персоне.

Мать я совсем не помню, разве только осталось воспоминание о том, как я вываливаюсь из тележки, запряженной пони, что, надо думать, произошло в ее присутствии. Это подлинное воспоминание, а не aberrация сознания, я долгие годы никому об этом не рассказывал и проверил лишь десятилетия спустя. В памяти живут только два моментальных впечатления, связанных с отцом: он дает мне страницу, где все напечатано красным, и красные буквы кажутся мне волшебными, а еще помню, как он принимает ванну. Согласно завещанию, родителей похоронили в нашем саду в Рейвенскрофте, но потом эксгумировали и перенесли в фамильный склеп в Чинис. За несколько дней до смерти отец написал своей матери следующее письмо.

Рейвенскрофт, в среду ночью

Дорогая моя мама,

Вам будет приятно узнать, что я намереваюсь приехать в Рэдклифф как только смогу, хотя причина промедления Вас не обрадует. У меня довольно про-

1. Уильям Джеймс (1842–1910) — психолог и философ, один из основоположников прагматизма в философии.

2. Сэр Хорас Дейви (1833–1907) — английский судья.

3. Перси Биш Шелли (1792–1822) — великий английский поэт; после смерти первой жены пытался через суд получить право воспитывать детей от первого брака, но проиграл процесс как “аморальная личность”.

тивный приступ бронхита, который удержит меня еще некоторое время в постели. Ваше письмо, то, что написано карандашом, пришло сегодня, и из него я понял, что Вы тоже измучены, и огорчился. Но как я ни измотан, не писать я все равно не могу, так как мне не спится. Незачем и говорить, что приступ не опасный и я не думаю о плохих последствиях. Но, наученный горьким опытом, знаю, что болезнь порой прикидывается на миг совершенно невинной и готова запросить пощады, когда победы нет и в помине. У меня поражены оба легких, и положение может ухудшиться. Умоляю Вас не посылать телеграмм и вообще не предпринимать никаких поспешных действий. У нас теперь вместо Одленда чудесный молодой доктор, который ради собственной своей репутации — он только начинает практиковать в наших местах — сделает для меня все возможное. Повторяю, что надеюсь поправиться, но на случай печального исхода хочу сказать, что ожидаю смерти спокойно и без суеты. “Как тот, кто, завернувшись в одеяло, спокойно предается сладким снам”¹.

О себе — никакой тревоги, даже сердце не трепещет, но очень горюю по нескольким людям, которых предстоит покинуть, и более всего — по Вам. Боль и слабость мешают мне найти подходящие слова, чтобы выразить, как глубоко я всегда ощущал Вашу неизменную и нерушимую любовь и доброту, даже тогда, когда, как могло казаться, ее не стоил. Безмерно сокрушаюсь, что порою вынужден был держаться резко, — ничего, кроме любви, я никогда не хотел Вам выказать. Я сделал очень мало из того, что собирался, но уповая, что толिका сделанного — не из худших. Умирал с чувством, что одно важное дело в жизни я успел завершить. С моими дорогими мальчиками, надеюсь, Вы будете видеться как можно чаще, и они будут относиться к Вам как к матери. Вы знаете, что похоронить меня следует тут, в моем любимом лесу, в том прелестном уголке, который уже давно меня поджидает. Вряд ли можно надеяться, что Вы будете присутствовать при погребении, но я очень бы желал того.

Наверное, очень эгоистично с моей стороны писать все это и причинять Вам боль; просто боюсь, что в другой раз буду слишком слаб, чтобы держать перо. Если смогу, буду писать ежедневно. От своего дорогого отца я во всю мою жизнь не видел ничего, кроме доброты и чуткости, за что искренне его благодарю. От всей души надеюсь, что на склоне долгой, достойно прожитой жизни он будет избавлен от горя утраты сына. Посылаю самые нежные слова любви Агате, Ролло и, если можно, бедному Уилли.

Ваш любящий сын Э. ²

Пембрук-лодж, где жили мои дедушка и бабушка, нескладный и невысокий — всего в два этажа, — стоял в Ричмонд-парке. Право владения домом принадлежало царствующему монарху, и своим именем дворец был обязан леди Пембрук, к которой Георг III в годы своего помешательства питал нежные чувства. В 40-е годы королева предоставила его в пожизненное пользование моим дедушке и бабушке, и с тех пор они всегда там жили. Знаменитое заседание кабинета министров, описанное во “Вторжении в Крым” Кинглейка³, — то самое, когда решался вопрос о Крымской войне и несколько министров проспали голосование, — происходило в Пембрук-лодж. Самого Кинглейка, впоследствии жившего в Ричмонде, я прекрасно помню. Как-то раз я спросил сэра Спенсера Уолпола, откуда у Кинглейка такая стойкая неприязнь к Наполеону III. “Из-

1. Заключительные строки поэмы “Танатопсис” Уильяма Каллена Брайанта (1794–1878).

2. Джон Рассел, виконт Эмберли (1842–1876).

3. Александр Кинглейк (1809–1891) — английский историк и путешественник.

за женщины”, — последовал ответ. “Вы мне расскажете, что это была за история?” — естественно, оживился я. “Нет, сэр, — отрезал он, — не расскажу”. А вскоре он умер.

[102]

ИЛ 12/2000

К Пембрук-лодж примыкало одиннадцать акров парка, по воле хозяев почти целиком находившегося в состоянии запустения. Первые восемнадцать лет моей жизни парк этот много значил для меня. К западу открывался необозримый вид, простиравшийся от Эпсомских холмов (как я думал, это о них говорилось в считалочке “По горам, по долам”) до Виндзорского замка, а между ними располагались Хайндхед и Литхилл. Я с детства привык к далеким горизонтам, к шири закатного неба, беспрепятственно открывавшегося взору, и без них никогда потом не бывал по-настоящему счастлив. В парке росло много чудесных деревьев: дубы, березы, конские и съедобные каштаны, лаймы, изумительный кедр, криптомерии и гималайские кедры — дар индийских раджей. Беседку окружали заросли шиповника и ржавчинного лавра, а во множестве укромных уголков можно было надежно спрятаться от взрослых, ничуть не опасаясь, что тебя найдут. Цветники были обсажены самшитовыми изгородями. За годы, что я прожил в Пембрук-лодж, парк окончательно одичал. Попадали большие деревья, кустарник переметнулся через дорожки, лужайки поросли высокой, пышной травой, изгороди превратились чуть ли не в рощи. И все же парк, казалось, не забыл свое былое великолепие, когда по его лужайкам гуляли послы иностранных государств, а принцы восхищались ухоженными клумбами. Парк жил в прошлом, а вместе с ним жил в прошлом и я. В голове у меня роились фантастические истории о родителях и сестре, воображение рисовало мне образ деда, молодого и энергичного. Разговоры, которые в моем присутствии вели взрослые, всегда были о прошлом: о том, как дедушка ездил к Наполеону на Эльбу, или как двоюродный дедушка моей бабушки дрался за Гибралтар во время американской Войны за независимость, или как бабушкиному дедушке устроили обструкцию в графстве, когда он высказал предположение, что мир был сотворен не за 4004 года до Рождества Христова, а раньше, иначе бы на склонах Этны не сохранилось столько лавы. Порой беседа касалась более свежих событий, вроде того, что Карлейль назвал Герберта Спенсера “абсолютным вакуумом” или что Дарвин был польщен визитом Гладстона. Родителей моих не было на свете, и я часто пытался угадать, что они были за люди. Я привык бродить по парку в полном одиночестве, то собирая птичьи яйца, то предаваясь размышлениям о том, что есть убегающее время. Сколько себя помню, важные, определяющие детские впечатления прояснялись в сознании как-то мимоходом, когда я играл или занимался своими детскими делами, и старшим я никогда ни о чем таком не проговаривался. Полагаю, что минуты и часы стихийного насыщения жизнью, когда юному существу ничего не навязывается извне, и есть самые для него важные, именно тогда закладываются вроде бы поверхностные, а на самом деле жизненно важные впечатления.

Дедушка запомнился мне восьмидесятилетним стариком, сидевшим в кресле на колесиках во время прогулок по парку либо читавшим Хансарда¹ у себя в комнате. Когда он умер, мне было всего шесть лет от ро-

1. Имеются в виду правительственные документы, печатавшиеся в парламентской типографии Люка Хансарда с 1774 по 1889 г.

ду. Помню, как в день его смерти вдруг появилась наемная карета и оттуда вылез мой старший брат, хотя школьный семестр еще не кончился. Я завопил “ура!”, и няня одернула меня: “Тише! Сегодня нельзя кричать “ура!”” Из чего понятно, что дедушка не играл особой роли в моей жизни; другое дело бабушка, которая была на двадцать три года моложе его. На протяжении всего моего детства она оставалась главным для меня лицом. Она принадлежала к шотландской пресвитерианской церкви, в политике и религии придерживалась либеральных взглядов (семидесяти лет перешла в унитарную церковь), но во всем, что касалось морали, отличалась величайшей строгостью. Замуж за дедушку, вдовца с шестью детьми на руках — двумя родными и четырьмя пасынками, — она вышла молоденькой, стеснительной девушкой, а через несколько лет его назначили премьер-министром. Надо думать, для нее это оказалось тяжелым испытанием. Она рассказывала, как еще в ее девические годы поэт Роджерс на одном из своих знаменитых утренников дал ей совет, заметив ее робость: “Работай язычком. Тебе это пойдет на пользу!” Из ее рассказов было совершенно ясно, что она ни разу в жизни не испытала ничего хоть отдаленно напоминавшего влюбленность. Помню, однажды она призналась мне, что вздохнула с облегчением, когда во время медового месяца к ней приехала погостить мать. Помню также, как она однажды сетовала на то, что сотни поэтов потратили столько слов на такую избитую тему, как любовь. Но дедушке она была верной, преданной женой и, сколько могу судить, ни разу ни в чем не отступила от тех весьма специфических требований, которые налагал на нее статус.

Своих детей и внуков она окружала глубокой и не всегда разумной заботой. Думаю, ей было совершенно неведомо ощущение бьющей через край энергии, животной радости существования, она воспринимала жизнь сквозь флер викторианской сентиментальности. Помню, как я тщетно пытался ей объяснить, что невозможно требовать, чтобы у всех было удобное жилье, и одновременно протестовать против нового строительства по той причине, что оно оскорбляет взор. Для нее каждое чувство существовало по отдельности и имело свои неотъемлемые права, и отказаться от одного чувства ради другого из-за такой прозаической вещи, как элементарная логика, было выше ее сил. По меркам своего времени она получила хорошее образование и безупречно, без малейшего акцента говорила по-французски, по-немецки и по-итальянски; основательно изучила Шекспира, Мильтона, поэтов XVIII века; могла без запинки перечислить знаки зодиака и имена девяти муз; английскую историю, как водилось у виггов, помнила до мельчайших деталей; была начитана во французской, немецкой, итальянской классике; а начиная с 1830 года знала политику не понаслышке. Но умение рассуждать не входило в ее образование, и все, что требовало логического хода мысли, начисто отсутствовало в ее умственной деятельности. Она так и не смогла понять, как работают речные шлюзы, хотя самые разные люди пытались ей это растолковать. Она впитала в себя пуританскую мораль викторианства, и не было такой силы на свете, которая могла бы убедить ее, что человек, готовый при случае чертыхнуться, не обязательно пропащая личность. Однако правило не обходилось без отступлений. Она поддерживала знакомство с сестрами Берри, дружившими с Хоресом Уолполом, и однажды заметила, — без малейшего осуждения! — что они “немного старомодны, любят ввернуть крепкое словцо”. Как и многие люди подобного

склада, она столь же непоследовательно делала исключение для Байрона, которого считала жертвой несчастной юношеской любви. На Шелли ее терпимость не распространялась: жил в грехе и стихи писал слезливо-слащавые. Думаю, о Китсе она и слухом не слыхала. Хорошо ориентируясь в мировой классике, заканчивавшейся для нее на Гёте и Шиллере, она понятия не имела о больших европейских писателях-современниках. Тургенев как-то подарил ей один из своих романов, но она его даже не раскрыла — Тургенев был для нее просто кузенном одной из приятельниц. Да-да, ей говорили, он пишет книги, но ведь кто только не пишет!

О современной психологии она, само собой, не имела ни малейшего представления. За кое-какими мотивами человеческого поведения она признавала право на существование: любовь к природе, забота об общественном благе, привязанность к детям — все это были добрые побуждения, а сребролюбие, властолюбие, тщеславие — дурные. Хорошие люди всегда руководствуются добрыми побуждениями, а плохие — плохими, однако и у плохих людей, даже очень, очень плохих, случаются временные просветления. Институт брака ставил ее в тупик. Понятно, долг мужа и жены — любить друг друга, но нехорошо, когда выполнение этого долга дается слишком легко, поэтому, если взаимное сексуальное влечение супругов слишком сильно, в этом есть что-то подозрительное, даже порочное. Разумеется, она не употребляла подобных выражений и буквально говорила вот что: “Знаешь, я никогда не считала супружескую привязанность таким же хорошим чувством, как родительская любовь, потому что тут всегда есть что-то не то, какой-то привкус эгоизма”. Дальше этого она не могла допустить в свой ум такой низменный предмет, как секс. Лишь однажды я слышал от нее чуть более откровенное высказывание на запретную тему, это когда она обронила, что “лорд Пальмерстон отличался от остальных мужчин тем, что был не совсем хорош... как мужчина”. Она не любила вина, терпеть не могла табак и почти не ела мяса. Жизнь ее отличалась аскетизмом: она употребляла лишь самую простую пищу, завтракала в восемь часов утра и до восьмидесяти лет не позволяла себе нежиться в мягком кресле, разве только после вечернего чая. В ней совершенно не было ничего светского, и она презирала тех, кто питал слабость к светским почестям. Должен с сожалением отметить, что к королеве Виктории она не испытывала особого пиетета и всегда со смехом вспоминала, как однажды, когда ей стало плохо в Виндзорском замке, королева была так любезна, что отдала распоряжение: “Леди Рассел допускается сесть. Леди такая-то встанет так, чтобы заслонить ее”.

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, ограниченность бабушкиных умственных горизонтов стала меня раздражать, а пуританские взгляды на мораль казаться крайностью. Но в детские годы на ее великую ко мне привязанность и неустанную заботу о моем благополучии я отвечал горячей любовью, и все это вместе давало мне великое чувство защищенности, столь необходимое детям. Помню, как я лежу в постели — мне года четыре, может быть, пять, и мысль о том, какой это будет ужас, когда бабушка умрет, не дает мне уснуть. Но когда она и в самом деле умерла — я был тогда уже женат, — я принял это как должное. Однако сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что с возрастом я все больше ощущал, как сильно она повлияла на мое формирование. Ее бесстрашие, заботу об общественном благе, презрение к условностям, равнодушие к господствующему мнению я всегда вменял ей в заслугу, они вызывали у

меня восхищение и желание подражать им. Бабушка подарила мне Библию, на форзаце которой написала свои любимые изречения, там было и такое: “Не следуй за большинством на зло”. Благодаря этим словам, исполненным для нее особого смысла, я никогда не боялся оказаться среди тех, кто остается в меньшинстве.

Когда я был ребенком, в живых оставались две бабушкины сестры и четверо братьев, и все они время от времени гостили в Пембрук-лодж. О самом старшем, лорде Минто, помню лишь то, что называл его “дядя Уильям”. Вторым по старшинству шел сэр Генри Эллиот, сделавший серьезную дипломатическую карьеру, однако о нем мало что сохранилось у меня в памяти. Третий, дядя Чарли, запомнился главным образом длинной вереницей титулов на адресованных ему конвертах, где он именовался “Достопочтенный сэр Чарльз Эллиот, адмирал, кавалер ордена Бани 2-й степени”, и жил в Девонпорте. Мне объяснили, что дядя Чарли — контр-адмирал, а есть еще другой адмирал, более важный, который называется “адмирал флота”; меня это задело, я чувствовал, что должен как-то восстановить справедливость. Самого младшего, Джорджа Эллиота, оставшегося холостяком, я называл “дядя Додди”. Все внимание всегда обращали на то, что внешне я очень походил на него (как и на бабушкиного деда, мистера Брайдона, того самого, который впал в предосудительную ересь из-за вышеупомянутой лавы на Этне), больше ничего примечательного в дяде Додди не было. О дяде Уильяме у меня осталось одно очень болезненное воспоминание. Как-то он приехал в Пембрук-лодж вечером дивного июньского, пронизанного солнцем дня, каждой минутой которого я буквально упивался, и перед сном, когда я подошел к нему пожелать спокойной ночи, он весьма серьезно уведомил меня, что способность человека к радости с возрастом убывает и я уже никогда в жизни не смогу радоваться летнему дню так же сильно, как сегодня. Из глаз моих брызнули слезы, и я долго не мог успокоиться и заснуть той ночью. Впоследствии я убедился, что то было не только жестокое, но и ложное умозаключение.

Окружавшие меня взрослые отличались редкостным непониманием силы детских чувств. Помню, как в четырехлетнем возрасте меня фотографировали в Ричмонде и фотограф, который никак не мог удержать меня на месте, в конце концов посулил бисквитное пирожное, если я перестану ерзать. До того дня я лишь однажды пробовал бисквитное пирожное, показавшееся мне истинной амброзией, поэтому я замер как мышь, и фотограф был в восторге. Вот только пирожного мне не досталось. Другой раз меня поразила фраза в разговоре взрослых: “Когда будет этот молодой лев?” Я тотчас наострил уши: “А разве к нам привезут льва?”. — “Да, — заверили меня, — в воскресенье. Совсем ручной, он будет в гостинной”. Я буквально считал дни и часы до воскресенья, а в воскресенье счет уже перешел на минуты. И вот молодой лев уже в гостинной, и можно пойти посмотреть на него. Наконец я там, и что же? Лев оказался самым обыкновенным молодым человеком по имени Лев. Не могу описать всей глубины моего разочарования, мне и сегодня больно вспоминать свое тогдашнее горе.

Но вернемся к семье моей бабушки. О ее сестре леди Элизабет Ромилли мне запомнилось лишь то, что от нее я впервые услышал о Редьярде

Киплинге, чьи “Простые рассказы с гор” она обожала. Куда более колоритной фигурой была вторая сестра, леди Шарлотта Портал, которую я называл “тетя Лотти”. О ней рассказывали, что в детстве она как-то свалилась с кровати и забормотала со сна: “Съехала подушка, и я низко пала”. Рассказывали также, что, послушавшись разговоров взрослых о сомнамбулизме, она ночью поднялась с кровати и стала бродить на манер лунатиков. Старшие, от которых не укрылось, что сна у нее нет ни в одном глазу, договорились не касаться этой темы. Наутро, так и не дождавшись ни слова о вчерашнем, она не выдержала и спросила: “Разве никто не видел, как я вчера ходила во сне?” Способность брякать глупости не изменила ей и в дальнейшем. Как-то раз ей потребовался кеб для троих седоков, и, решив, что двуколка маловата, а четырехколесный экипаж великоват, она распорядилась, чтобы лакей нанял трехколесную карету. В другой раз, когда она уезжала на континент и ее провожал тот же лакей по имени Джордж, она высунулась из окна в миг, когда тронулся поезд, и закричала: “Джордж, Джордж, как ваше имя?”, потому что вспомнила в последнюю минуту, что ей, наверное, понадобится послать ему хозяйственные распоряжения, а она даже не знает, кому адресовать письмо. “Джордж, миледи”, — отвечал он, но этого она, увы, уже не услышала.

Кроме бабушки, в Пембрук-лодж жили ее неженатые дети: дядя Ролло и тетя Агата. В мои первые сознательные годы дядя Ролло оказал на меня большое влияние, так как часто говорил со мной о науке, а эрудиция у него была огромная. Всю жизнь он страдал болезненной застенчивостью в столь тяжелой форме, что не мог заниматься какой-либо деятельностью, предполагавшей общение с другими людьми, но со мной, пока я оставался ребенком, чувствовал себя свободно и, случалось, обнаруживал вкус к диковинному юмору, о чем прочие члены семьи и не догадывались. Помню, как-то я спросил у него, почему в церквях не стекла, а витражи. Без тени улыбки он поведал, что прежде там были обычные стекла, но однажды взойшедший на кафедру священник увидел через окно человека с ведром на голове, на которого вылилась вся побелка, потому что у ведра вылетело дно. У бедного священника это вызвало такой неудержимый приступ хохота, что от проповеди пришлось отказаться; вот так в церквях и появились витражи. Когда-то дядя служил в министерстве иностранных дел, но потом у него ухудшилось зрение, и в пору, когда я знал его, он не мог ни читать, ни писать. Через некоторое время зрение восстановилось, но он уже больше не пытался поступить на регулярную службу. По профессии он был метеорологом, ему принадлежат ценные выводы о связи между извержением вулкана Кракатау в 1883 году и наблюдавшимися после этого в Англии закатами необычной окраски, а также голубым цветом луны. Он не раз излагал мне свою систему доказательств, и всякий раз я слушал его как зачарованный. В первую очередь благодаря этим беседам во мне проснулся интерес к науке.

Из окружавших меня в Пембрук-лодж взрослых моложе всех была тетя Агата. Когда меня туда привезли, ей исполнилось двадцать два года, разница между нами составляла всего девятнадцать лет. В первые годы моего там пребывания она не раз пыталась заниматься моим обучением, но без особого успеха. У нее было три цветных мяча: ярко-красный, ярко-желтый и ярко-синий. Взяв в руки красный, она спрашивала: “Какого цвета этот мяч?” Я отвечал: “Желтый”. Тогда она подносила его к клетке

с канарейкой и спрашивала: “Разве он такой же, как канарейка?” — “Нет”, — отвечал я. Но так как я не знал, какого цвета канарейка, это не помогало. Постепенно я научился различать цвета, но в памяти осталось только то время, когда мне это не давалось. Потом она пыталась учить меня чтению, однако это было выше моего разума. За время наших занятий я научился читать только одно слово: “или”. Другие слова, такие же короткие, никак не запоминались. Должно быть, она отчаялась чего-нибудь добиться, потому что в пять лет без малого меня отдали в детский сад, где я и освоил наконец нелегкое искусство чтения. Когда мне исполнилось лет шесть-семь, она снова принялась за меня и стала учить английской конституционной истории, которой я очень заинтересовался. По сей день помню многое из того, что она говорила.

У меня до сих пор хранится маленькая записная книжечка, куда я заносил под ее диктовку вопросы и ответы. Применяемый ею метод легко продемонстрировать на следующем примере.

*Вопрос. Из-за чего спорили король Генрих II и Томас Бекет?*¹

Ответ. Генрих желал положить конец злу, вызываемому тем, что епископы творили собственный суд и церковное право в стране существовало отдельно от обычного. Бекет отказывался ослабить власть епископальных судов, но в конце концов его склонили признать Кларендонские конституции (далее излагались соответствующие конституционные положения).

Вопрос. Пытался ли Генрих II улучшить управление страной?

Ответ. Да, в период своего многотрудного правления он не оставлял забот о реформировании закона. При нем возросла роль выездных судов, в графствах производились не только слушания денежных тяжб, но разбирались жалобы и выносились судебные решения. Именно благодаря реформам Генриха II появились первые фостки того, что превратилось впоследствии в суд присяжных.

Об убийстве Бекета не говорится ни слова. Казнь Карла I упоминается без малейшего осуждения.

Тетя Агата так и не вышла замуж, хотя когда-то была помолвлена с викарием, но помолвку пришлось разорвать из-за того, что у невесты возникли навязчивые состояния. У нее появилась маниакальная скупость: в своем просторном доме она пользовалась лишь несколькими комнатами ради экономии угля и по тем же соображениям принимала ванну только раз в неделю. Она всегда носила толстые шерстяные чулки, вечно собиравшиеся складками на шиколотках, и то и дело произносила прочувствованные речи о добродетелях одних и пороках других совершенно призрачных личностей, существовавших лишь в ее воображении. Она ненавидела моих жен и жен моего брата все то время, пока мы были на них женаты, и начинала обожать их, едва мы с ними расставались. Когда я впервые привел к ней мою вторую жену, она выставила на каминной полке снимок ее предшественницы и сказала со вздохом: “Вот смотрю я на вас, а на ум поневоле приходит Элис, и думаю, что это будет, если Берти, не дай Бог, вас тоже бросит”. Мой брат как-то сказал ей: “Тетушка, вы всегда отстааете на одну жену”, что ее ничуть не рассердило, а лишь безумно насмешило, и она потом всем пере-

1. Томас Бекет (1118–1170) — лорд-канцлер Англии (1155–1162), архиепископ Кентерберийский (1162). Убит в Кентерберийском соборе по приказу Генриха II.

сказывала его шутку. Те, кто считал ее слабоумной и сентиментальной, не могли прийти в себя от изумления, когда она вдруг, почувствовав себя в ударе, проявляла недюжинную проницательность и остроумие. Она пала жертвой благочестия моей бабушки, внушившей ей, что секс предосудителен, и если бы не это, скорей всего, стала бы счастливой, дельной, энергичной женой какого-нибудь достойного человека.

Брат был семью годами старше меня и не очень годился мне в товарищи. Дома он появлялся лишь в каникулы и праздники, когда освобождался от школы. Как и положено младшему брату, я относился к нему с обожанием и в первые дни после его приезда не помнил себя от радости, но еще через несколько дней начинал мечтать, чтобы каникулы поскорее кончились. Он постоянно дразнил и задира́л меня, правда довольно добродушно. Помню, мне было лет шесть, когда он заорал во все горло, подзывая меня: «Малышка!» Я не подавал виду, что слышу, — в конце концов, меня звали иначе. Потом он объяснил, что раздобыл кисть винограда и хотел угостить меня, а так как мне ни под каким видом и ни при каких обстоятельствах не разрешалось есть фрукты, удар был нешуточный. Еще в доме имелся маленький колокольчик, который я считал своим, но, возвращая его, брат всякий раз напоминал, что это его колокольчик, и снова отнимал у меня, хотя был слишком большим, чтобы получать удовольствие от детских игрушек. Брат вырос, но колокольчик еще долго хранился у него и если ненароком попадался мне на глаза, меня охватывало негодование. Из переписки родителей ясно, что брат доставлял им много огорчений, но мама его хотя бы понимала — характером и внешностью он пошел в Стэнли, тогда как для Расселов он был загадкой, и с первых же шагов они считали его исчадием ада¹. Почувствовав, чего от него ждут, он, вполне естественно, стал вести себя в соответствии со своей репутацией. Родственники из кожи вон лезли, стараясь держать меня подальше от него, и я очень огорчался, когда стал это понимать. Он обладал способностью заполнять собой все пространство, и у меня быстро появлялось чувство, будто рядом с ним я задыхаюсь. До самой своей смерти он внушал мне смешанное чувство — любви и страха. Он страстно желал любви, но из-за крайней неуживчивости никогда не мог ее удержать, а утратив очередную привязанность, страшно страдал, и оттого, что сердце его обливалось кровью, делался жесток и неразборчив в средствах, но за всеми, даже самыми худшими его поступками лежали движения сердца.

В ранние детские годы слуги значили для меня много больше, чем родственники. Экономка по имени миссис Кокс служила младшей нянькой моей бабушки, еще когда та была крошкой. Прямая, энергичная, строгая и очень преданная нашей семье, она неизменно выказывала мне доброту. Должность дворецкого занимал типичный шотландец по имени Макалпайн. Он, бывало, сажал меня к себе на колени и читал вслух газетные репортажи о железнодорожных катастрофах. Завидев его, я тотчас залезал к нему на колени и требовал: «Еще про катастрофы». Была в доме и кухарка-француженка по имени Мишо, довольно устрашающая особа, но несмотря на трепет, который она мне внушала, я все рав-

1. В одном из писем к моему отцу бабушка пишет, чтобы он не принимал слишком близко к сердцу выходки моего брата; вот, например, Джон Фокс тоже был очень хулиганистым мальчишкой, а потом ничего, образовался. (Прим. автора.) Чарльз Джеймс Фокс (1749–1806) — английский государственный деятель.

но пробирался на кухню полюбоваться, как вращается насаженное на старинный вертел мясо, и стянуть из солонки комочек другой соли, которую любил больше сахара. Она гонялась за мной с большим мясным ножом в руке, но увернуться ничего не стоило. За стенами дома можно было встретить садовника Макроби, о котором я почти ничего не помню, потому что он уволился, когда мне было пять лет, а также смотрителя и его жену, мистера и миссис Синглтон; я очень любил их за то, что они всегда угощали меня печеными яблоками и пивом, нарушая тем самым сторожайший запрет, под которым находились оба лакомства. Место Макроби занял садовник по имени Видлер, он с первой минуты огоршил меня тем, что англичане — отложившиеся десять колен Израилевых, и я, конечно, не мог понять, о чем он толкует. Сначала, когда я только приехал в Пембрук-лодж, ко мне приставили немецкую бонну мисс Хетшел, хотя я уже говорил по-немецки так же свободно, как по-английски. Буквально через несколько дней после моего приезда она отбыла, а вместо нее появилась другая немецкая бонна, прозывавшаяся Вильгельмина или, сокращенно, Минна. Мне живо помнится, как в свой первый вечер в доме она купала меня в ванне, а я на всякий случай решил не шевелиться и стоять как статуя — кто знает, чего от нее можно ожидать? Дело кончилось тем, что ей пришлось позвать на помощь слуг, потому что я не давал себя намылить. Впрочем, вскоре я к ней привязался. Она учила меня выводить буквы немецкого алфавита, сначала прописные, потом строчные, и когда мы дошли до конца алфавита, я сказал: “Теперь еще надо выучиться писать цифры” — и очень удивился и обрадовался, когда узнал, что они такие же, как в английском. Ей случалось дать мне шлепок, помню даже, как я плакал в таких случаях, но мне и в голову не приходило озлобиться и решить, что теперь мы враги. Она оставалась у нас до моего шестилетия. У меня тогда была еще няня Ада, которая по утрам, пока я лежал в постели, разводила огонь в камине, и мне всегда хотелось, чтобы она подольше не подбрасывала уголь, потому что мне нравились потрескивающие и разноцветные огненные вспышки загорающихся дров. Няня спала со мной в детской, но я совершенно не помню, чтобы она раздевалась или одевалась в моем присутствии, — пусть фрейдисты толкуют это как угодно.

В детские и отроческие годы меня кормили по-спартански, причем ограничения были так велики, что с точки зрения сегодняшних норм рационального питания составляли угрозу для здоровья. Некая пожилая дама, мадам д’Этгейоган, племянница Талейрана, жившая по соседству с нами в Ричмонде, имела обыкновение дарить мне огромные коробки восхитительных шоколадных конфет, но мне разрешалось съесть одну штучку в воскресенье, зато и в будни и в праздники в мои обязанности входило обносить ими взрослых. Я любил крошить хлеб в подливку, что позволялось делать только в детской, но никак не в столовой. Нередко я спал перед обедом, и если мой дневной сон затягивался, обед подавали в детской, а если просыпался вовремя, обедал в столовой. Зачастую я притворялся спящим, чтобы не ходить обедать со всеми. В конце концов взрослые догадались о моем притворстве и в один прекрасный день, когда я еще лежал в постели, стали меня ощупывать. Я замер, воображая, что именно так, в полном оцепенении, лежат спящие, но, к своему ужасу, услышал: “Он не спит, лежит как каменный”. Никто так и не узнал причину моего лицедейства. Помню такой случай: за обедом после сме-

ны тарелок всем, кроме меня, подали по апельсину. Мне не разрешалось есть апельсины в силу неколебимой уверенности взрослых в том, что фрукты вредят здоровью детей. Я знал, что нельзя просить апельсины, это была бы дерзость, но поскольку передо мной тоже поставили тарелку, я рискнул посетовать: "Тарелка есть, а на ней — ничего". Все засмеялись, но апельсин я все равно не получил. Мне не давали фруктов, практически не давали сахара, зато перекармливали другими углеводами. И все-таки в детстве я не болел ни единого дня и из всех детских болезней перенес в одиннадцать лет только корь в слабой форме. Впоследствии, когда у меня проснулся интерес к детям — в связи с тем, что у меня появились собственные, я ни разу не видел такого здорового ребенка, каким был сам, и все же не сомневаюсь, что любой современный педиатр-диетолог нашел бы у меня кучу разных болезней, развившихся из-за неполноценного питания. Возможно, меня спасало то, что я ел украдкой кислые яблоки с дичков; конечно, если бы это открылось, взрослые упали бы в обморок и поднялся бы переполох. Моя первая ложь также была продиктована инстинктом самосохранения. Гувернантке пришлось оставить меня на полчаса одного, и, уходя, она мне строго наказала ни под каким видом не есть ежевику. Когда она вернулась, я стоял в подозрительной близости к веткам. "Ты лакомился ягодами", — упрекнула она меня. "Вот и нет", — попробовал отпереться я. "А ну, покажи язык", — потребовала она. Мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя совершенно испорченным мальчиком.

У меня было особое, невероятно обостренное чувство греха. В детстве на вопрос, какой гимн мне больше всего нравится, я ответил: "В тщете земной, под бременем греха моего". Как-то раз бабушка после семейной молитвы прочла притчу о блудном сыне и когда закончила, я сказал: "Я знаю, ты это выбрала потому, что я разбил кувшин". Впоследствии она любила вспоминать этот семейный анекдот, чтобы посмешить слушателей, не отдавая себе отчета в том, что подобная болезненная впечатлительность, имевшая поистине трагические последствия для ее детей, была делом ее собственных рук.

Если не все, то многое из того, что отложилось в детской памяти, было связано с унижением. В 1877 году дедушка и бабушка сняли на лето Стоун-хаус, дом архиепископа Кентерберийского, находившийся неподалеку от Бродстайерза. Мне показалось, что мы ужасно долго едем в поезде и, наверное, уже добрались до Шотландии, поэтому я спросил: "Мы сейчас в какой стране?" Все стали надо мной смеяться: "Он не знает, что из Англии никуда нельзя попасть иначе как по морю!" Я не осмелился сказать что-либо в свое оправдание, так и сидел, сгорая от стыда. Как-то раз, когда мы уже жили в этом архиепископском доме, я пошел к морю с бабушкой и тетей Агатой. На мне были новенькие ботинки, и когда мы выходили на прогулку, последнее нянино напутствие было: "Не промочи обновку!" Я стоял на камне, и вдруг начался прилив. Бабушка и тетка закричали, чтобы я шагал в воду и шел к берегу, но ведь я не мог замочить ботинки, а потому стоял и стоял, пока тетя сама не прошла по воде и не сняла меня с камня. Тетка и бабушка решили, что я испугался, и стали стыдить меня за трусость, а я, не желая признаваться, что повиновался нянинуму наказу, ничего им не сказал.

Но в целом жить в Стоун-хаусе было очень приятно. Мне вспоминается северный Форланд, о котором я думал тогда, что это один из четы-

рех углов Англии, ибо ее территорию я представлял себе как прямоугольник. Вспоминаются руины Ричборо, очень будоражившие мое воображение, и *camera obscura*¹ в Ремсгейте, возбуждавшая у меня еще более жгучий интерес. Вспоминаются поля с волнующимися хлебами — к величайшему моему сожалению, когда я вернулся туда тридцать лет спустя, от всего этого великолепия ничего не осталось. Вспоминаются, конечно, все удовольствия, связанные с морем: блюдечки, актинии, прибрежные скалы, песчаный берег, рыбацьи лодки, маяки. Меня поразило, что блюдечки, когда их пытаешься оторвать от скалы, прилипают еще сильнее, и я спросил у Агаты: “Тетя, а блюдечки умеют думать?” — “Не знаю”, — ответила она. “Надо знать”, — возмутился я. Плохо помню, как произошло знакомство с моим другом Уайтхедом, но мне рассказывали, что случилось это при следующих обстоятельствах. Когда мне сообщили, что земля круглая, и я не поверил этому, мои родственники обратились за поддержкой к местному приходскому священнику, а им был отец Уайтхеда. Склонившись перед авторитетом церкви, я принял общепринятую точку зрения и немедленно принялся рыть в песке ход к антиподам. Сам я ничего этого не помню, но слышал от старших.

В то лето в Бродстайерзе меня повели в гости к сэру Мозесу Монтефиори², старому и необыкновенно почтенному еврею, жившему по соседству (в энциклопедии написано, что он вышел в отставку в 1824 году). Так я впервые узнал, что евреи есть не только в Библии. Прежде чем отвести меня к старику, бабушка долго и терпеливо объясняла, какой это достойный и заслуженный человек и как плохо было раньше, когда евреи были лишены элементарных гражданских прав, и как много сделал сэр Монтефиори и дедушка, чтобы это исправить. В данном случае бабушкины поучения отличались предельной ясностью, но порой оставляли меня в величайшем недоумении. Она была яростной сторонницей “малой Англии”³ и сурово порицала колониальные войны; объясняла, что война с зулусами — позор и ответственность за нее несет прежде всего сэр Бартл Фрер, губернатор Кейпа. Но когда он приехал в Уимблдон и она повела меня с ним знакомиться, она держалась с ним так любезно, что никто бы не заподозрил, какого она о нем чудовищного мнения. Все это было совершенно непонятно.

Бабушка обычно читала мне вслух, и чаще всего — повести Марии Эджуорт. Одну историю, которая называлась “Подделанный ключ”, она пропустила, объяснив, что детям читать ее не стоит. Но я все равно прочел этот самый “Ключ” — читал по одному предложению за раз, пока шел от книжной полки до места, где поджидала бабушка. Вообще ее попытки оградить меня от жизни редко увенчивались успехом. Помню, когда я уже был постарше, в прессе освещался скандальный бракоразводный процесс некоего Чарльза Дилка, и все это время она из предосторожности ежедневно сжигала газету. Но так как приносить ей газету входило в мои обязанности, я всегда поджидал почтальона у ворот парка и в результате не упустил ни слова из репортажей о процессе. Эта история меня особенно интриговала, потому что вышеупомянутый Дилк

1. Темная камера (*лат.*). Прибор в виде ящика с оптическим стеклом, через которое проходит свет и дает на противоположной стороне прибора перевернутое изображение.

2. Сэр Мозес Монтефиори (1784—1885) — британско-еврейский филантроп.

3. Сторонники “малой Англии” — противники новых колониальных захватов, получившие свое прозвание в период англо-бурской войны.

бывал в нашей церкви, и мне было интересно, что он чувствует, когда оглашают седьмую заповедь. Позднее я сам стал читать бабушке вслух и таким образом познакомился с огромным количеством английской классики: с Шекспиром, Мильтоном, Драйденом, “Задачей” Каупера, “Замком праздности” Томсона, Джейн Остен и множеством других книг, входивших в обязательное чтение.

В “Викторианском детстве” Амабел Хут Джексон (урожденной Грант Дафф) есть страницы, прекрасно передающие атмосферу Пембрук-лодж. Ее отец сэр Маунтстюарт Грант Дафф жил с семьей в большом доме в Туикнеме. Мы с Амабел дружили с четырехлетнего возраста и до самой ее смерти во время второй мировой войны. От нее я впервые услышал о Верлене, Достоевском, немецких романтиках и других замечательных писателях. Но ее воспоминания касаются более ранних лет. Она пишет:

Из мальчиков я дружила только с Бертраном Расселом, который жил со своей бабушкой, старой леди Рассел, вдовой лорда Джона, в Пембрук-лодж, стоявшем в Ричмонд-парке. Мы с Бerti во всем были заодно, но тайне я восхищалась его старшим братом Фрэнком, очень красивым и талантливым юношей. Однако с огорчением должна признаться, что Фрэнк относился к маленьким девочкам так же, как мой старший брат, и имел обыкновение привязывать меня за косы к стволу дерева. Тогда как Бerti, серьезный маленький мальчик в синем бархатном костюмчике, с такой же серьезной гувернанткой, был неизменно добр ко мне, и я очень любила приходить в Пембрук-лодж на чай. Но даже тогда я ощущала, какое это неподходящее место для маленьких детей. Леди Рассел всегда говорила полупрошептом, а леди Агата, не расстававшаяся с белой шалью, всегда выглядела понурой; Ролло Рассел никогда не открывал рта, только здоровался за руку, да так, будто хотел переломать вам кости, хотя ничего плохого не имел в виду. Все они выплывали из комнаты, как призраки, и, казалось, никогда не испытывали чувства голода. Странное это было место для двух совсем юных и невероятно талантливых мальчиков.

Почти все детство я большую часть дня гулял в саду в полном одиночестве и поэтому самые яркие жизненные впечатления переживал наедине. Крайне редко делился я с кем-нибудь своими сокровенными мыслями, а если и случалось, то потом непременно жалел об этом. В саду я знал каждый уголок: в одном месте меня ждали по весне белые примулы, в другом — гнездо горихвостки, в третьем — цветы акации, выглядывавшие из путаницы плюща. Я знал, где найти первые колокольчики, какие дубы раньше покрываются листвой. До сих пор помню, что в 1878 году на одном из них листья проклюнулись уже 14 апреля. Я любил наблюдать, как к росшим под моим окном двум пирамидальным тополям — каждый футов сто высотой — подкрадывается на закате тень дома. Просыпался я обычно рано и порой видел, как в небе появляется Венера, а однажды принял ее за мерцающий в лесу фонарь. Почти не бывало, чтобы я пропустил восход солнца, а в ясные апрельские деньки, выскальзывая из дому на рассвете, успевал как следует размять ноги перед завтраком. Я видел, как солнце окрашивает землю в пурпур и золотит облака, слушал ветер, упивался вспышками молнии. Однако с годами росло мучительное чувство безысходности, и при мысли, что я не найду людей, с которыми смогу говорить откровенно, на меня накатывало отчаяние.

И все же природа, книги и математика (правда, это уже позже) спасали меня от безысходного уныния.

Впрочем, в раннем детстве я был счастлив, лишь с приближением отроческих лет одиночество стало угнетать меня. У меня были гувернантки: немка и швейцарка, а умственно я еще недостаточно созрел, чтобы осознать свое сиротство как горе. Тем не менее меня, видимо, томил ощущение неприкаянности, помню, как я мечтал, чтобы родители были живы. Однажды — мне было тогда лет шесть — я признался в этом бабушке, и в ответ она принялась горячо меня убеждать, что их смерть для меня большая удача. От ее доводов остался тяжелый осадок на душе, я приписал их ревности. Тогда я, разумеется, не понимал, что с викторианской точки зрения она рассуждала вполне здраво. У бабушки было очень подвижное, выразительное лицо; проведя всю жизнь в высшем свете, она так и не овладела искусством скрывать свои чувства. Я и прежде замечал, что даже случайное упоминание о душевных болезнях вызывает у нее сильнейшее волнение, и часто недоумевал, что бы это могло значить. Лишь много лет спустя я узнал, что один из ее сыновей провел большую часть жизни в приюте для душевнобольных. Карьеру он начал в самом прославленном полку, но после нескольких лет службы лишился рассудка. История, за точность которой я не вполне могу поручиться, сводится к следующему: однополчане дразнили его за то, что он избегал женщин; а в казарме на правах домашнего животного жил медведь, и однажды, шутки ради, они спустили его на дядю, который побегал куда глаза глядят. От страха у него помутился рассудок и отшибло память. Его нашли в какой-то деревне и поместили в лазарет работного дома, поскольку он не мог объяснить, кто он такой. Среди ночи он вскочил и с криком «Медведь! Медведь!» набросился на лежавшего на соседней койке бродягу и задушил его. Память так и не вернулась к нему, хотя он дожил до девятого десятка.

Когда я стараюсь вызвать в воображении самые ранние картины детства, мне прежде всего вспоминается весенняя теплынь в Пембрук-лодж; я приехал сюда совсем недавно, наверное с месяцем назад, под ногами хлупает талый снег, а я стою и смотрю, как распиливают на чурки огромную упавшую березу. Второе ясное воспоминание — это день моего четырехлетия, когда я получил в подарок трубу, в которую дудел до самого вечера, и в беседе меня потчевали чаем с именным тортом. Следующее, что всплывает в памяти, это как тетя учит меня читать и различать цвета, но ярче всего я помню детский сад, где с величайшим наслаждением проучился года полтора, поступив туда в неполных пять лет. Это воспитательное заведение, откуда вышли все будущие государственные мужи, не афишировало свое местонахождение где-то между Бернерс и Оксфорд-стрит; и доныне, проходя по Бернерс-стрит, я должен специально себе напомнить, что там меня не ждет заколдованный дворец Аладдина. В детском саду я познакомился со многими детьми, но мало с кем из них потом встречался; впрочем, в 1929 году, едва сойдя с поезда в Ванкувере, я натолкнулся на Джимми Бейли. Задним числом я понимаю, что наша симпатичная воспитательница прошла классическую фребелевскую¹ выучку и была в курсе самоновейших педагогических методик. До сих пор я помню все ее уроки до мельчайших деталей,

1. Фридрих Фребель (1782–1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания; разработал идею детского сада и методику работы воспитателей.

но, кажется, больше всего меня восхитило, что от смешения желтой и синей краски получается зеленая.

Мне было всего шесть лет, когда умер дедушка, и вскоре после похорон мы уехали на лето в Сент-Филланс, в графство Перт. Вспоминается диковинная старая гостиница с трухлявыми дверными косяками, дощатый мостик через речку, скалистые озерные заводы, горы прямо напротив крыльца. От всего этого у меня осталось чувство огромного счастья. Следующее воспоминание совсем другого свойства: я сижу в комнате лондонского дома на Чешем-плейс, 8, учу таблицу умножения, но дело продвигается туго, из-за чего на меня криком кричит гувернантка, и я то и дело заливаюсь слезами.

Когда мне исполнилось семь лет, бабушка сняла на несколько месяцев дом в Лондоне, и я стал чаще видеться с родней матери. Ее отца уже не было в живых, но мать, леди Стэнли Олдерли, жила с дочерью Мод в большом доме на Дувр-стрит, 40. Меня часто приглашали туда на ланч, но, несмотря на прекрасное угощение, удовольствие делить трапезу с леди Стэнли, особой крайне язвительной и не знавшей снисхождения ни к полу, ни к возрасту, было сомнительное. Я страшно робел ее, и это ее злило, ибо никто из Стэнли не страдал неуверенностью в себе. Я буквально из кожи вон лез, стараясь завоевать ее расположение, но вечно терпел неудачу, причем по самым неожиданным причинам. Помню, как-то я сказал, что за последние семь месяцев вырос на два с половиной дюйма, и если буду и дальше расти такими темпами, то в год буду прибавлять по четыре и две седьмых дюйма. “Ты что, не знаешь, — обрушилась она на меня, — что в хорошем обществе не говорят о долях меньше половины или четверти, это педантизм!” — “Теперь знаю”, — ответил я. “До чего похож на своего отца!” — бросила она тете Мод. В общем, как ясно видно из вышесказанного, мои героические попытки ей угодить ничем хорошим не кончались. Мне было лет двенадцать, когда она поставила меня в центре гостиной, где собралось множество гостей, и стала экзаменовать, читал ли я то-то и то-то — следовал длинный список научно-популярных книг. Я не читал ни одной из них. Тогда, повернувшись к гостям, она демонстративно вздохнула: “Какие у меня отсталые внуки!” Она являла собой человеческую разновидность, выработанную XVIII веком: рациональную, трезвую, ставившую превыше всего знание и презиравшую слащавое викторианское лицемерие. Ей принадлежит чуть ли не главная роль в создании Гертон-колледжа¹, в вестибюле которого висит ее портрет, но после ее смерти дорогие ей принципы были забыты. “Пока я жива, часовни в Гертоне не будет!” — твердила она, однако часовню, действующую там и поныне, заложили ровно в день ее смерти. Как только я достиг отрочества, она стала применять контрмеры против того, что считала фальшью и слюнтяйством в моем воспитании. “Никто не может упрекнуть меня в неподобающем поведении, но я всегда говорила, что нарушить шестую заповедь страшнее, чем седьмую, — тут, по крайней мере, требуется согласие обеих сторон”, — объясняла она мне. Однажды я и впрямь обрадовал ее — попросил подарить на день рождения “Тристрама Шенди”. “Не стану надписывать, — сказала она, — потому что люди скажут: “Ну и чудачка у тебя бабушка!” И все же не удержалась и сделала надпись на томике, который оказался пер-

1. Гертон-колледж — женский колледж Кембриджского университета; основан в 1869 г.

вым подписным изданием Стерна. Не помню, чтобы мне еще хоть раз удалось заслужить ее одобрение.

Она испытывала величайшее презрение ко всему, что почитала глупостью. В день своего рождения она всегда давала обед для тринадцати приглашенных и самого суеверного из них заставляла уйти первым. Помню, одна из ее внучек, очень жеманная девица, как-то пришла с комнатной собачкой, докучавшей бабушке тьяканьем. Парируя сердитые упрёки бабушки, гостя сказала, что у нее не собака, а ангел. “Ангел? Ангел? — возмутилась леди Стэнли. — Какой вздор! Ты что же, полагаешь, что она у нее есть душа?” — “Да, есть”, — отважилась сказать внучка, и все время, что она оставалась с визитом, бабушка сообщала каждому очередному посетителю: “Знаете, что говорит эта глупышка Гризель? Что у собак есть душа?” У бабушки было обыкновение принимать в огромной гостиной целые толпы визитеров, в числе которых бывали самые известные писатели своего времени, и потчевать их чаем. Но стоило кому-нибудь из них откланяться, как, повернувшись к остальным, она со вздохом говорила: “Дураки так утомляют!” Она принадлежала к ирландским Диллонам, бежавшим во Францию после Бойнской битвы¹ и получившим под командование собственный полк во французской армии: воспитана она была как якобитка. Французская революция заставила семью вернуться в Ирландию, но бабушка выросла во Флоренции, где ее отец занимал пост премьер-министра. Там, во Флоренции, она еженедельно навещала вдову Младшего Претендента². Она часто говорила, что ее предки допустили одну-единственную глупость — были якобитами. Дедушку с материнской стороны я не знал, но не раз слышал, что он держал жену в ежовых рукавицах, и коли так, полагаю, был весьма замечательной личностью³. У бабушки было огромное потомство, и ее сыновья и дочери почти в полном составе каждое воскресенье являлись к ней на ланч. Старший ее сын — глухой как пень — принял мусульманство; второй сын, Лайельф, вольнодумец, боролся с церковью в лондонском школьном комитете; третий, Элджернон, католик, был камерарием при папском дворе и епископом Эммаусским. Лайельф был остроумен, энциклопедически образован и саркастичен; Элджернон — столь же остроумен, но тучен и жаден; мусульманин Генри не унаследовал никаких семейных талантов и распространял вокруг себя скуку — полагаю, на свете не существовало более скучного человека, чем он. Будучи глухим, он желал все расслышать и во всем принять участие. По воскресеньям за обеденным столом завязывались самые настоящие баталии, ибо среди бабушкиных дочерей и зятьев имелись и англикане, и унитарии, и позитивисты, и это не считая сыновей, принадлежавших к нескольким конфессиям! Когда схватки достигали яростного накала, Генри, слышав шум, начинал требовать, чтобы ему объяснили, что происходит. Сосед по столу принимался кричать ему прямо в ухо то, что думал о существе спора, а остальные вопили: “Не верь ему, Генри, дело совсем не в этом!” Поднимался невообразимый шум и гам. Посреди всего этого действия дядя Лайельф любил огорошить публику вопросом: “Кто из вас буквально верит в ис-

1. В Бойнской битве (1690) Вильгельм III Оранский разбил Якова II Стюарта.

2. Младший Претендент — прозвище Карла Эдуарда Стюарта (1720–1788), внука короля Якова II, дано ему в отличие от его отца, Якова Эдуарда Стюарта (1688–1766), Старшего Претендента.

3. Так оно и было. См. Nancy Mitford. The Ladies of Alderly, 1938. (Прим. автора.)

торию Адама и Евы?" Спрашивал же он это с единственной целью заставить своих братьев — мусульманина и священника — признать единство их позиций, а горшей муки для них не существовало. В воскресные дни я шел к столу на подгибающихся от страха ногах: кто мог угадать, из-за чего на этот раз на меня напустится эта камарилья? Среди всех них лишь одна женщина, жена дяди Лайельфа, была мне другом, но она принадлежала не к Стэнли, а приходилась сестрой сэру Хью Беллу¹. Бабушка считала, что проявила необыкновенную широту, позволив Лайельфу породниться, как она говорила, с "лавочниками", но так как сэр Хью был мультимиллионером, мне это не казалось таким уж подвигом с ее стороны.

Однако и на мою грозную бабушку Стэнли имелась управа. Как-то к чаю должен был прийти Гладстон², и перед этим она долго втолковывала мне, чем нехороша его политика гомруля и как она ему все это выложит прямо в лицо. Я присутствовал при их разговоре, но ни одно критическое замечание не сорвалось у нее с языка — под его ястребиным оком не могла не присмиреть даже она. Ее зять лорд Карлейль рассказывал мне о другом, еще более курьезном случае. Как-то раз она гостила в Нэуортском замке одновременно с Бёрн-Джонсом³, чей кисет напоминал по форме черепахе. А в замке жила и настоящая черепаха, и в один прекрасный день она забрела в библиотеку. Это навело молодое поколение на мысль подшутить над старшими. Кисет Бёрн-Джонса был водворен в гостиной рядом с камином, куда после обеда перешли дамы, которые стали возмущаться тем, что от черепахи теперь нет покоя и в гостиной. Одна из них подняла кисет с пола и тут же закричала, что черепаха "размягчилась"! Лорд Карлейль тотчас принес из библиотеки соответствующий том энциклопедии и сделал вид, будто зачитывает место, где говорится, что от сильного жара с черепахами такое случается. Бабушка проявила живейший интерес к этому естественноисторическому явлению и при случае охотно его вспоминала; а много лет спустя в пылу спора по поводу гомруля леди Карлейль, по столь ей свойственной сердечной доброте, выложила матери правду о тогдашнем розыгрыше. Но бабушка отрезала: "Можешь думать обо мне что угодно, но я не дура и не верю тебе!"

Мой брат, который пошел характером в Стэнли, любил Стэнли и терпеть не мог Расселов, а я любил Расселов и побаивался Стэнли. Но когда я повзрослел, чувства мои переменялись. Я унаследовал от Расселов застенчивость, чувствительность и способности к метафизике, а от Стэнли — энергию, крепкое здоровье и жизнерадостность. В общем и целом, второе важнее.

Но вернусь к воспоминаниям детства, следующее из которых относится к зиме 1880—1881 года, проведенной нами в Борнмуте. Тогда я впервые узнал имя Томаса Харди, чей трехтомный роман "Старший трубач драгунского полка" лежал на столе в гостиной. Скорее всего, я запомнил его имя лишь потому, что не понимал смысл слов "старший трубач" и "драгунский", да еще не мог взять в толк, что значит "обезумевшая толпа", фигурировавшая в названии другой книги этого же автора: "Вда-

1. Сэр Хью Белл (1844—1931) — английский промышленник.

2. Уильям Гладстон (1809—1898) — английский политический деятель, с 1868 г. лидер либеральной партии. В 60-90-е гг. неоднократно был премьер-министром Англии; сторонник гомруля — движения за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении верховной власти английской короны.

3. Эдуард Бёрн-Джонс (1833—1898) — английский художник-прерафаэлит.

ли от обезумевшей толпы”. Той зимой моя гувернантка-немка заявила, что рождественские подарки достанутся только тем, кто верит в Деда Мороза, это заставило меня рыдать в три ручья, так как я уже утратил соответствующую веру. Про Борнмут помню только, что нас застала там небывалая выюга и еще что я учился кататься на коньках и потом все отрочество с упоением предавался этому занятию. Как-то, когда мы жили на Дувр-стрит, я катался в Сент-Джеймском парке и провалился в озеро; помню, как я бегу по улицам, с меня течет вода, и от стыда я не могу поднять глаз на прохожих. Но и это не излечило меня от страсти скользить по тонкому льду. Следующий год ничем памятным не ознаменовался. Зато свое десятилетие я помню ясно, как вчерашний день: тепло и светло, я сижу в цветущем раkitнике, и тут появляется гувернантка-швейцарка, которую бабушка только что допросила с пристрастием, приняла на работу и послала поиграть со мной в мяч. Она говорит, что “словила” мяч, и я поправляю ее. Потом режу свой именинный торт, но никак не могу отделить первый кусок и страшно теряюсь. Но главное, что помнится, — это невероятное обилие солнечного света.

В одиннадцать лет под руководством брата я начал изучать геометрию. То было одно из самых значительных событий в моей жизни — головокружительное, как первая любовь. Я и представить себе не мог, что на свете существуют такие восхитительные вещи! Когда я выучил пятую теорему, брат заметил, что в принципе она считается трудной, но ничего трудного я не заметил. Тут у меня впервые забрезжила мысль, что я, наверное, не лишен способностей. С этой минуты и до тех пор, как мы с Уайтхедом закончили “Principia Mathematica”, то есть до моих тридцати восьми лет, математика составляла главную мою страсть и служила главным источником радости, но, как это всегда бывает, радости не безоблачной. Мне было сказано, что в геометрии Евклида ничто не принимается без доказательств, поэтому я испытал страшное разочарование, узнав, что вначале вводятся аксиомы. Я отказывался принимать их, если брат не докажет, что это необходимо, но он просто сказал: “Если ты их не примешь, мы не сможем двигаться дальше”. А так как я очень хотел двигаться дальше, я против воли принял их, так сказать, *pro tem*². Однако сомнения в математических предпосылках, тогда впервые меня посетившие, не покидали меня и позже и в конце концов определили направление моих научных занятий.

Начала алгебры давались мне труднее, возможно, из-за качества преподавания. Требовалось вызубрить: “Квадрат суммы двух чисел равен сумме их квадратов плюс их произведение, умноженное на два”. Я не имел ни малейшего понятия, что это значит, и поскольку так и не вызубрил, мой наставник швырнул мне в голову учебник, что нимало не способствовало усилению моей умственной деятельности. Но когда первые шаги были преодолены, дальше все пошло гладко. Мне нравилось поражать слушателей моими познаниями. Помню, как-то я запустил пенсовую монетку, и учитель, уже следующий, спросил меня, почему она вращается. “Потому что мои пальцы образуют пару”. — “А что ты знаешь о парах?” — “Все!” — ответил я весело.

Бабушка постоянно тревожилась, как бы я не переутомился, и поэтому уроки мои были очень непродолжительны. Дело кончалось тем, что

1. “Основания математики” (лат.).

2. Временно, пока что (лат.).

я занимался тайком у себя в спальне, сидел холодными ночами за письменным столом в одной рубашке, при свете единственной свечи, готовый при малейшем шорохе задуть ее и нырнуть в постель. Мне преподавали латынь и греческий, хотя я находил, что нет ничего глупее, чем учить языки, на которых никто не говорит. Больше всего я любил математику, а потом уже историю. Сравнить себя мне было не с кем, и я долгое время не знал, каков я: хуже или лучше других мальчиков, но однажды услышал, как дядя Ролло, прощаясь у входной двери с главой Бейллиола¹ Джоуэттом, заметил: "Да, делает большие успехи", и почему-то я догадался, что это обо мне. Поняв, что я умный, я решил про себя, что, если ничего не случится, добьюсь известности на интеллектуальном поприще, и во все годы моей молодости не позволял никаким отвлекающим обстоятельствам встать между мной и этой целью.

Тем не менее совершенно неверно было бы думать, что все мое детство прошло под знаком не улыбающейся серьезности. Я старался извлечь из жизни как можно больше радости, и порой довольно злокозненного свойства. Семейный доктор, старик шотландец с бачками, обычно приезжал в пролетке, которая стояла у входных дверей, пока эскулап выносил свой приговор. Залихватский цилиндр его кучера призван был свидетельствовать о процветающей практике патрона. Я обычно забирался на крышу, устраивался аккуратно над этим великолепным головным убором и, зачерпнув из ближайшего желоба пригоршню полусгнивших розовых бутонов, стрелял в намеченную цель. Они дождем летели вниз и с тихим звуком шмякались о донце цилиндра, а я поскорее отодвигался от края крыши, чтобы кучер подумал, что гнилушки сыплются прямо с неба. Порой я позволял себе и худшие проказы: когда пролетка трогалась, швырял вдогонку снежки, подвергая опасности драгоценную жизнь обоих — кучера и доктора. Была у меня еще одна любимая забава. В воскресные дни, когда в парке было полным-полно гуляющих, я забирался на самую верхушку большого бука, росшего на границе наших владений, повисал головой вниз и начинал верещать, зорко наблюдая за собравшейся подо мной толпой, чтобы не пропустить миг, когда она перейдет от взволнованного гомона к непосредственным мерам по моему спасению. Тут я мгновенно переворачивался и тихо спускался вниз на нашу сторону. В пору, когда у нас жил Джимми Бейли, я позволял себе еще более дикие выходки. Кресло на колесиках, в котором раньше возили дедушку, хранилось в чулане. Мы извлекли его оттуда и скатывались с каждой попадавшейся на пути горки. Иные наши проделки так и остались неизменными. Например, мы долго овладевали искусством раскачиваться на веревке, привязанной к ветке дерева; фокус состоял в том, чтобы, описав полный круг, вернуться в исходную точку. Требовалась немалая ловкость, чтобы не застрять на полпути или со всего маху не треснуться спиной о шершавый ствол дерева. Когда к нам в гости приходили другие мальчики, мы устраивали настоящее цирковое представление, и если они пытались подражать, со злорадным удовольствием наблюдали за их мучительным, беспомощным барахтаньем. В имении у дяди Ролло, где одно время мы проводили по три месяца в году, имелись три коровы и ослик. Ослик был поумнее коров и научился открывать носом калитки в изгородях между полями, но считалось, что он упрямый и от него нет ника-

1. Известный колледж Оксфордского университета; назван по имени его основателя, Джо-на де Бейллиола (ум. 1269).

кого проку. Однако я не согласился с этим вердиктом и после многих бесславных попыток все же научился ездить на нем без седла и уздечки. Он брыкался и лягался, но сбросил меня, лишь когда я привязал к его хвосту гремучую жестянку с камнями. Верхом на осле я путешествовал по всей округе, даже приехал провести дочь лорда Вулсли, который жил в трех милях от дядиного дома. <...>

Юность

Мое детство прошло в основном в состоянии радости и душевной открытости, я любил почти всех взрослых, среди которых мне довелось жить. Но чувства мои разительно переменились, когда подошел возраст, который в современной детской психологии называется “латентным периодом”. Помню, что стал употреблять жаргонные словечки, притворяться бесчувственным и вообще разыгрывать из себя “мужчину”. К родственникам я проникся презрением — как еще было относиться к людям, которые испытывают панический страх перед жаргоном и считают, что лазать по деревьям — очень опасное занятие? Мне столько всего возбранялось, что я начал прибегать к притворству и упорно придерживался этой методы до двадцати одного года. Привычка стала второй натурой: что бы я ни делал, я ощущал, что лучше мне об этом помалкивать, и избавиться от этого обыкновения, сложившегося в отроческие годы под гнетом обстоятельств, я так и не смог за всю последующую жизнь. Мной и сегодня владеет безотчетное желание спрятать лежащую передо мной книгу, когда кто-то входит в мою комнату, не говорить, откуда я вернулся, не признаваться, что я делал. Без сознательного волевого усилия я и сейчас не могу побороть свою инстинктивную тягу к скрытности, зародившуюся в ту пору, когда приходилось продираться сквозь рогатки дурацких запретов.

Мне выпала на долю очень одинокая и очень несчастливая юность. И эмоциональную, и интеллектуальную свою жизнь я вынужден был держать в строжайшем секрете. Интересы мои распределялись между сексом, религией и математикой. Мне неприятно говорить о моих юношеских сексуальных переживаниях и не хочется вспоминать, что я чувствовал в те годы, но я постараюсь рассказать, как все было на самом деле, а не как мне бы того желалось. О половой жизни я узнал впервые в двенадцать лет от мальчика по имени Эрнест Логен, с которым в более нежном возрасте мы вместе ходили в детский сад. Как-то раз нам довелось спать в одной комнате, и он всю ночь объяснял мне природу коитуса и его связь с деторождением, в качестве примеров приводя всякие забавные истории. Сведения эти я нашел замечательно интересными, но никакой физической реакции они у меня не вызвали. Тогда мне показалось самоочевидным, что свободная любовь — единственно разумная форма взаимоотношений и что брак — следствие христианских предрассудков (совершенно точно помню, что пришел к этой мысли сразу, как только узнал тайну пола, однако вскоре мнение мое переменилось). Мне было четырнадцать лет, когда мой наставник бросил невзначай, что вскоре в моем организме произойдут важные изменения. В большей или меньшей степени я уже способен был понять, что он имеет в виду. Как раз в ту пору у меня гостил другой мальчик, Джимми Бейли — тот самый,

которого я встретил в 1929 году в Ванкувере, — и мы часто говорили об этом предмете, причем не только друг с другом, но и с юным слугой нашего возраста или, может быть, чуть постарше, отличавшимся не в пример большей осведомленностью, чем мы. Но когда взрослым стало известно, что тогда-то днем мы вели разговор со слугой, да еще на столь неподобающую тему, нам скорбным тоном было сделано внушение, после чего нас заперли в спальне и держали на хлебе и воде. Как ни странно, эти меры не убили во мне интереса к вопросам пола. Мы с Джимми проводили много времени, говоря на те же “неподобающие” темы и пытаясь узнать то, чего не знали. Я обнаружил, как полезен для “расширения горизонтов” медицинский справочник. В пятнадцать лет меня стали одолевать сексуальные желания почти невыносимой силы. Я сидел за книгами, но был не в состоянии сосредоточиться из-за бесконечно повторявшихся эрекций, и хотя у меня вошло в привычку мастурбировать, я все же не слишком часто предавался этому занятию, так как очень сошелся своей слабости и пытался от нее избавиться, но до двадцати лет — когда, влюбившись, излечился в одночасье — оставался ей подвержен.

Тот же наставник, который затронул как-то в разговоре тему полового созревания, несколько месяцев спустя вскользь заметил, что принято говорить “мужская грудь”, но “женские груди”. Почему-то это вызвало у меня такое невыносимое возбуждение, что я совершенно смешался, и он стал прохаживаться на счет моей притворной скромности. Много часов в день у меня отнимало фантазирование о женском теле, и я стал подглядывать в щелочку за горничными, пытаясь подгадать момент их переодевания, но все без толку. Мы с другом потратили целую зиму на то, чтобы вырыть длинный подземный ход — такой узкий, что пробраться туда можно было только ползком, на локтях и коленях, — и крохотную комнатушку примерно в шесть кубических футов. У нас дома служила горничная, которую я, бывало, уговаривал вползти со мной в это убежище, а там целовал и обнимал. Как-то я спросил, не согласится ли она провести со мной ночь, но она ответила, что лучше умрет, чем согласится (чему я поверил), и заодно прибавила, что я удивил ее — “она-то думала, что я хороший”. В общем, тем дело и кончилось. К тому времени я отрешился от рационалистического взгляда на сексуальные отношения, которого придерживался до периода созревания, и безоговорочно принял традиционную систему ценностей, сочтя ее вполне здоровой. Я стал болезненно впечатлителен и считал себя вконец испорченным. В то же время во мне проснулся интерес к собственной психологии, и я стал весьма последовательно и отнюдь не бестолково заниматься самоанализом, но до моего сведения тут же было доведено, что всякая интроспекция есть свидетельство душевного нездоровья; тем самым внимание к собственным мыслям и чувствам стало для меня лишним доказательством моих психических отклонений. Но после двух или трех лет самонаблюдения до меня вдруг дошло, что у человека нет другого доступа к чрезвычайно важным для него знаниям и, следовательно, объявлять это вредоносным противоречит здравому смыслу. И на душе у меня полегчало.

Одновременно с плотскими желаниями во мне заговорило и очень сильное романтическое чувство, сексуальная природа которого тогда была мне непонятна. Я стал чутко реагировать на красоту закатов и облаков, весеннее и осеннее переодевание деревьев, но в основе этого глубоко сентиментального восприятия лежала бессознательная сублима-

ция сексуальности и попытка эскапизма. Я читал много разных стихов, в том числе и очень плохих, вроде "In memoriam". Сколько помню, я прочел тогда все стихотворения Мильтона, почти всего Байрона, очень много Шекспира, Теннисона и, главное, Шелли. На Шелли я наткнулся совершенно случайно. Однажды, поджидая тетю Мод в ее гостиной на Дувр-стрит, я от нечего делать взял в руки томик стихов, который открылся на "Аластор". Он показался мне самой прекрасной из всех поэм, и его ирреальность, несомненно, весьма способствовала моему восторгу. К тому времени, когда в гостиной появилась тетьа, поэма была дочитана почти до середины, но пришлось поспешно захлопнуть книжку и сунуть на полку. Я обратился к старшим с вопросом, признают ли они Шелли великим поэтом, но они были о нем дурного мнения. Меня это, конечно, не остановило, и все свободное время я читал его стихи и учил наизусть. Поскольку рядом не было никого, с кем бы я мог поделиться своими мыслями и чувствами, я часто думал о том, как замечательно было бы подружиться с Шелли, и спрашивал себя, встречу ли я когда-нибудь хоть одну такую же родственную душу.

Вместе с интересом к поэзии во мне проснулся интерес к религии и философии. Дедушка мой был англиканином, бабушка принадлежала к шотландской пресвитерианской церкви, но затем перешла к унитариям; меня через воскресенье возили то в Питершем — в епископальную приходскую церковь, то в Ричмонд — в пресвитерианскую, а дома преподавали доктрины унитаризма. Лет до пятнадцати последний и был моим вероисповеданием. Но на шестнадцатом году жизни я принялся изучать так называемые рациональные доказательства основ христианства систематически. В размышлениях об этом предмете я провел долгие часы, но не мог никому открыться из страха оскорбить чувства близких. И постепенная утрата веры, и необходимость таиться причиняли мне ужасные страдания. Я полагал, что, перестав верить в Бога, свободу воли и бессмертие души, непременно буду несчастен. Однако доводы, приводимые в обоснование этих догматов, оказались крайне необубедительными. Я с великой скрупулезностью разбирал их один за другим. Сначала я исследовал свободу воли. В пятнадцать лет у меня уже не было никаких сомнений в том, что движение материи — живой и неживой — полностью определяется законами механики и, следовательно, воля не может влиять на тело. В ту пору я начал записывать свои мысли в тетрадь для упражнений по греческому языку, писал я по-английски, но греческими буквами — из страха, что иначе кто-нибудь дознается о моих размышлениях. В этих записях отражено мое представление о человеческом теле как машине. Сознание, что я становлюсь материалистом, доставляло мне интеллектуальное удовлетворение, но материалистом я был скорей декартовского толка (сам того не ведая, ибо Декарт был для меня тогда лишь создателем системы координат). Я пришел к выводу, что сознание — непроверяемая данность и, следовательно, чистый материализм невозможен. Эти выводы я сделал, когда мне было пятнадцать лет, а двумя годами позже я уже не сомневался в том, что жизни после смерти не существует, но все еще верил в Бога, ибо аргумент первопричины представлялся мне непроверяемым. Но однажды, незадолго до того,

как я поступил в Кембридж, — мне тогда исполнилось восемнадцать лет, — я, читая “Автобиографию” Милля, встретил следующее рассуждение: его отец объяснил ему, что на вопрос “Кто меня сотворил?” нет ответа, ибо иначе тотчас встает следующий вопрос: “Кто сотворил Бога?” Это позволило мне отбросить аргумент первопричины и стать атеистом. В долгие годы религиозных сомнений постепенная утрата веры страшно угнетала меня, но, дойдя до логического конца, я с удивлением обнаружил, что рад покончить с высокими материями.

Все это время я жадно поглощал одну книгу за другой. Выучился итальянскому и смог прочесть Данте и Макиавелли. Прочел Конта, которого, кстати сказать, нашел малоинтересным. Проштудировал и тщательно законспектировал “Политическую экономию” и “Логику” Милля. С интересом прочитал Карлейля, но совершенно не принял его насквозь сентиментальное обоснование религии, ибо уже тогда выработал позицию, которой всегда придерживался впоследствии: никогда не принимать богословское утверждение, если оно не подкреплено данными, используемыми для доказательства какого-либо научного положения. Я прочел Гиббона, “Историю христианства” Мильмана и полное издание “Путешествий Гулливера”. Рассказ о йеху произвел на меня сильнейшее впечатление, и я стал воспринимать людей в соответствующем свете.

Не следует забывать, что вся эта бурная умственная жизнь проходила как бы в подполье, никак не проявляясь внешне и не отражаясь на моих взаимоотношениях с окружающими. На людях я был стеснителен, робочлив, неуклюж, хотя благословителен и доброжелателен. С завистью смотрел я на тех, кто умел вести себя свободно, не испытывая мучительной неловкости. Больше всего мне не давали спать лавры одного знакомого молодого человека по имени Каттермол. Малый он был пожалуй что жуликоватый, но до чего непринужденно прохаживался под руку с элегантной молодой девушкой, которой явно нравилась его самоуверенность, — я просто глаз от него не мог отвести! Нет, никогда, никогда, никогда не научусь я держаться так же любезно и не смогу угодить той, ко- го захочу завоевать, думалось мне.

Кое о чем иногда удавалось поговорить и с учителями. До шестнадцати лет я учился дома, но наставники редко задерживались больше чем на три месяца. Тогда я не понимал почему, но, полагаю, дело объяснялось просто: сговором, в который я пытался войти с каждым новым учителем, чтобы отменить очередные глупые запреты моих родственников. Один из моих менторов, агностик, охотно говорил на религиозные темы, но думаю, потому-то он у нас недолго пробыл. Больше всего бабушка и остальные мои родственники любили и дольше всего держали учителя, погибавшего от злостной чахотки, отчего у него невыносимо дурно пахло изо рта. Но им и в голову не приходило, что с медицинской точки зрения мне было небезопасно по многу часов в день находиться в непосредственной близости от заразного больного.

Незадолго до шестнадцатилетия меня отправили в школу к репетитору, который готовил юношей к экзамену на офицерский чин (жил он на Олд-Саутгейт — тогда это было за городом). Мне нужно было подготовиться в Кембридж, в Тринити-колледж, а не в армию, тогда как большинство моих соучеников, кроме одного-двух повес, которым предстояло принять духовный сан, мечтали об офицерском звании. Однокашникам моим исполнилось по семнадцать-восемнадцать, а то и

девятнадцать лет, и я сильно им уступал по возрасту. Все они уже достигли той поры, когда молодые люди частенько заглядывают к проституткам, что и составляло главную тему их разговоров. Наибольший восторг вызывал у них один малый, хваставший тем, что подцепил и залечил сифилис, — это придавало ему огромный авторитет в их глазах. Усевшись в кружок, они обменивались похабными историями. На все, что бы ни случилось, реакция была стандартная — скабрёзности. Как-то раз учитель послал одного из них в соседний дом с запиской. По возвращении посланец под гогот слушателей пересказывал, как сообщил появившейся на звонок горничной: “У меня тут для вас кое-что имеется” (намекая на презерватив в кармане), а она ответила: “Как хорошо!” Другой раз в церкви, когда певшие гимн дошли до строки: “Восславлю моего Авенира”, я услышал смешок: “Никогда не знал, что это так называется”.

Хотя мне уже были ведомы муки юношеского желания, грубость моих товарищей внушала мне омерзение. Вследствие чего я превратился в крайнего пуританина и пришел к мысли, что секс без большой любви — животное занятие. Замкнувшись в себе, я старался как можно меньше соприкасаться с остальными. Они же, напротив, цеплялись ко мне, решив, что я подхожу на роль мальчика для битья. Ставили на стол стул, силой усаживали меня туда и заставляли петь единственную известную мне шуточную песенку “Старец Авраам”¹. <...>

Я быстро сообразил, что отвязаться можно, лишь сохраняя полную невозмутимость и непроницаемое благодушие. А через семестр или два появился более подходящий кандидат на шутковскую должность, развлекавший собрание тем, что легко приходил в бешенство. Я, со своей стороны, тоже привык к их сальностям и больше не обращал на это внимания, но все равно чувствовал себя глубоко несчастным. От дома репетитора через поля вилась тропинка в сторону Нью-Саутгейта, и я часто гулял там в одиночестве, любуясь закатом и обдумывая способы самоубийства. Однако с собой я не покончил — меня слишком интересовала математика. Мои родственники, конечно, пришли бы в ужас, скажи я им, какого рода разговоры считаются здесь нормой, но так как я делал успехи в математике, я предпочитал терпеть и ни словом не обмолвился, что это за местечко. Через полтора года таких занятий, в декабре 1889-го, я сдал экзамены и получил именную стипендию. Десять месяцев, предшествовавших моему отъезду в Кембридж, я пробыл дома, занимаясь с учителем, которого рекомендовал мой бывший репетитор.

В школе у репетитора я на какое-то время сошелся с молодым человеком по имени Эдвард Фицджеральд — американцем по матери и канадцем по отцу, впоследствии известным альпинистом, совершившим множество восхождений в Южных Альпах (Новая Зеландия) и в Андах. Родители у него были богачи, которые занимали огромный дом на Рутленд-стрит, 19 (теперь его уже снесли). Его сестра писала стихи и близко дружила с Робертом Браунингом², которого я часто заставал у них дома. Впоследствии она стала первой женой лорда Эдмонда Фицмориса³, а потом — синьорой де Филиппи. Сестра была намного старше брата и полу-

1. Английская детская песенка.

2. Роберта Браунинга я уже встречал раньше. Когда мне было два года, он как-то пришел на ланч в Пембрук-лодж и говорил не закрывая рта, тогда как всем присутствовавшим хотелось послушать актера Сальвини, которого поэт привел с собой. Я терпел, терпел, а потом вдруг заорал во всю мочь: “Пусть этот человек замолчит!” Он повиновался. (Прим. автора.)

3. Эдмонд Фицморис (1846–1935) — английский историк и государственный деятель.

чила классическое образование. Тогда она вызывала у меня чувство романтического преклонения, но, встретив ее годы спустя, я обнаружил, что она невыносимо скучная особа. Эдвард воспитывался в Америке и являл собою личность в высшей степени искушенную. Ленивый и апатичный, он был разносторонне одарен, а математические способности имел поистине выдающиеся. Для него не составляло труда определить возраст любого известного вина или марку сигары; он мог ложками поглощать горчицу, приправленную черным перцем; близко познакомился с европейскими борделями; обладал обширными знаниями литературы и за годы учебы в Кембридже собрал отличную библиотеку раритетов. Едва он появился у репетитора, меня сразу потянуло к нему как к человеку, принадлежавшему, по крайней мере, к цивилизованному сообществу, чего никак нельзя было сказать об остальных (никто из них и слыхом не слышал о Роберте Браунинге, умершем как раз в то время, когда я учился в этой школе). На уик-энды мы оба уезжали домой, но сперва он непременно увозил меня к себе потрапезничать с его родителями, а потом мы отправлялись на какой-нибудь дневной спектакль или концерт. Мои родственники навели справки о родителях, но за них поручился сам Роберт Браунинг. Истомившись от долгого одиночества, я привязался к Эдварду до глупости страстно. К величайшему моему удовольствию, я получил приглашение поехать с ним и его родителями в августе за границу, где был только в двухлетнем возрасте, и перспектива увидеть чужие страны привела меня в восторг. Сначала мы отправились в Париж, где в то время проходила Всемирная выставка 1889 года, поднимались на только что открывшуюся Эйфелеву башню. Затем перебрались в Швейцарию и в течение недели переезжали с места на место, а напоследок остановились в Энгадине. Мы с Эдвардом ходили в горы — взбирались на Пиц-Корвач и Пиц-Палю. Оба раза шел снег, во время первого восхождения горная болезнь началась у меня, а во время второго — у него. Второй поход вообще оказался богат захватывающими приключениями: один из наших проводников свалился в пропасть, откуда его вытаскивали на веревках, причем меня поразило его *sang froid*¹ — он все время чертыхался.

Как раз в эти дни у нас с Фицджеральдом, к несчастью, возник довольно серьезный разлад. На мой взгляд, он непростительно грубо разговаривал с матерью, и по молодости лет я позволил себе выговаривать ему за это. Его это страшно злило, то была какая-то холодная злоба, которая потом не утихала месяцами. а так как, вернувшись к репетитору, мы поселились вместе, он заполнял время тем, что говорил мне гадости, в чем, надо отдать ему должное, достиг большого совершенства. Постепенно я проникся к нему великой ненавистью, которая сейчас кажется мне непостижимой. Как-то раз в приступе гнева я сжал ему горло и стал душить. Я хотел его убить, но когда он посинел, отпустил руки. Вряд ли он успел понять, как был близок к смерти. Но и после этого случая мы, можно сказать, оставались приятелями все то время, пока он учился в Кембридже, то есть до конца второго курса, когда он женился.

Время шло, и я все больше отдалялся от своих родственников. Я соглашался с их взглядами на политику, но и только. Поначалу я иногда пытался заговорить с ними о чем-нибудь, что и в самом деле занимало мои мысли, — в ответ неизменно раздавались язвительные замечания, и это

1. Хладнокровие (*франц.*).

приучило меня держать язык за зубами. Мне представлялось несомненным, что целью любой человеческой деятельности является счастье, однако, к своему величайшему изумлению, я обнаружил, что некоторые люди так не думают. Я узнал, что вера в счастье называется утилитаризмом и это всего лишь одно из многих этических учений, адептом которого я и стал, о чем весьма опрометчиво сообщил бабушке. Она осыпала меня градом насмешек и с тех пор всегда предлагала разрешить те или иные этические противоречия исходя из принципов утилитаризма. Она просто не располагает серьезными доводами против утилитаризма, и ее афронт интеллектуально несостоятелен, смекнул я. Узнав, что я интересуюсь метафизикой, она сказала: “Весь предмет этой науки укладывается в софизм: ‘Что есть разум?’ — ‘Всё, кроме материи’. — ‘Что есть материя?’ — ‘Всё, кроме высоких материй’”. Когда она в пятнадцатый или шестнадцатый раз повторила эту остроту, мне стало скучно, но она продолжала бороться с метафизикой до конца своих дней и даже написала на эту тему сатиру в стихах. <...> Помню, как она сказала, когда я уже был взрослым человеком: “Я слышала, ты опять пишешь книгу” — с таким упреком в голосе, словно речь шла не о новой книге, а об еще одном внебрачном ребенке. Против математики она, в общем, не возражала, хотя ей не верилось, что от этой науки может быть какой-нибудь толк. Она-то надеялась, что я стану священником-унитарием. До двадцати одного года я не заикался о своих религиозных убеждениях. Да что тут говорить, еще в четырнадцать лет я понял: для того, чтобы хоть как-то выжить, дома нужно держать рот на замке, ни единым словом не касаясь того, что меня в самом деле интересует. Бабушка на все отвечала шутками, на первый взгляд забавными, а на деле едкими. Ничем не лучше была тетя Агата. Дядя Ролло, в ту пору уже похоронивший свою первую жену, совершенно ушел в себя от горя. Учившийся в Бейллиоле брат стал буддистом и любил мне объяснять, что душа может поместиться даже в самый крохотный конвертик. Помню, как, мысленно перебирая все виденные мной малосенькие конверты, я представлял себе душу, бьющуюся в них, как сердце, но судя по тому, что я почерпнул из его рассказов об эзотерическом буддизме, эта картина мало чем могла помочь в моих религиозных исканиях. С тех пор как брат достиг совершеннолетия, мы почти не виделись — он старался держаться подальше от семьи, где считался “испорченным”. Я вознамерился сделать важное математическое открытие, когда вырасту, но надежды встретить кого-нибудь, с кем я смогу дружить и свободно делиться мыслями, у меня не было, как не было и веры в будущее, сулившее мне, как я полагал, одни несчастья.

Живя в Саутгейте, я очень заинтересовался политикой и экономикой. “Политическую экономию” Милля я не только прочел, но и принял целиком, без оговорок. Прочел я и Герберта Спенсера, который в “Человеке против государства” показался мне слишком большим доктринером, но в общем и целом я с ним согласился. Тетя Агата привлекла мое внимание к сочинениям Генри Джорджа¹, от которого была в восторге. Джордж убедил меня в том, что за счет национализации земли можно получить абсолютно все, чего социалисты надеются добиться с помощью социализма, в каковой уверенности я и пребывал до первой мировой войны.

1. Генри Джордж (1839—1897) — американский экономист и публицист; пропагандировал идеи единого земельного налога и национализации земли.

Бабушка Рассел и тетя Агата горячо поддерживали гладстоновскую политику гомруля, и у нас в Пембрук-лодж бывали многие члены парламента-ирландцы. Как раз в ту пору “Таймс” выступила с заявлением, что располагает документами, подтверждающими виновность Парнелла¹ в убийстве, одним из соучастников которого он якобы был. Почти все высшее сословие, в том числе большинство тех, кто поддерживал Гладстона в 1886 году, легко согласилось с обвинением, в которое верило до тех пор, пока в 1889 году фальсификатор Пиготт не разоблачил себя тем, что не смог написать слово “неуверенность”, и это стало неопровержимым доказательством непричастности Парнелла к преступлению. Бабушка и тетя всегда горячо спорили с теми, кто обвинял сторонников Парнелла в связях с террористами, ибо относились к нему с большим пиететом (однажды и мне случилось обменяться с ним рукопожатием), но когда он оказался замешан в скандале, приняли сторону отрекшегося от него Гладстона.

Я дважды ездил в Ирландию с тетей Агатой. Совершал там далекие прогулки и с ирландским патриотом Майклом Дейвиттом, и в одиночестве и был безмерно очарован красотой природы. Особенно меня пленило маленькое озерцо Лугала в графстве Уиклоу, навсегда связавшееся для меня со строчками:

Как к галечному пляжу движется волна,
Так и минута к гибели стремится².

Приехав пятьдесят лет спустя в Дублин к моему другу Крамтону Дэвису, я уговорил его посетить Лугалу. Но он привез меня не к памяtnому “галечному пляжу”, а в лес высоко над озером, и я отбыл с твердым убеждением, что нечего и пытаться воскрешать старые воспоминания.

В 1883 году дядя Ролло купил дом на склонах Хайндхеда, куда в течение долгого времени мы приезжали на три месяца в году. В ту пору там не было других домов, только два брошенных постоянных двора: “Королевские хижинки” и “Семь шипов” (сейчас уже обретшие хозяев). Дом Тиндала³, с которого пошла мода на эти места, тогда еще только строился. Меня часто водили туда в гости, и однажды Тиндал дал мне свою книгу “Формы воды”. Я очень почитал его как выдающегося деятеля науки и страшно хотел произвести на него впечатление. Дважды это в какой-то мере удалось. Дело было так: он разговаривал с дядей Ролло, а я старался удержать на одном пальце две трости с изогнутыми набалдашниками. Тиндал поинтересовался, что я такое делаю, и я объяснил, что пытаюсь экспериментальным путем найти центр тяжести. То был первый случай. А второй произошел несколько лет спустя, когда я сказал, что поднимаюсь на пик Пиц-Палю, — Тиндал был альпинистом-первопроходцем. Невыразимое удовольствие доставляли мне прогулки по вересковым пустошам, я шел через Блэкдаун к Панчбоулу, добирался до Чарта — до самой Чаши Дьявола. Особенно мне запомнилась проселочная дорога, которая называлась “Тропка матушки Банч”⁴ (теперь там все застроено и кра-

1. Чарльз Стюарт Парнелл (1846—1891) — ирландский политический деятель, лидер движения за гомруль, “некоронованный король Ирландии”.

2. Первые две строки 60-го сонета Шекспира.

3. Джон Тиндал (1820—1893) — английский физик и популяризатор науки.

4. Трактирщица XVIII века, чье питейное заведение носило ее имя; впоследствии в ее честь была названа книга по домоводству, содержащая много забавных советов и выдумок; с именем матушки Банч ассоциируется идея уюта и веселья.

суется надпись “Тракт Банч”), она постепенно сужалась, сужалась, пока не превращалась в горную тропу, ведущую на гребень Херт-хилла, и вдруг, совершенно неожиданно, можно сказать, без всякого предупреждения, перед вами открывался захватывающий дух, широченный вид на половину Суссекса и почти весь Суррей. Подобные минуты многое определили в моей жизни. Вообще то, что случилось под открытым небом, как я понял, не в пример сильнее действовало на меня, чем то, что происходило в помещении. <...>

Помолвка

Однажды воскресным летним днем 1889 года дядя Ролло, в чьем доме на склонах Хайндхеда я гостил, позвал меня на далекую пешую прогулку по окрестностям. Когда мы спускались с Фрайдейз-хилла, что неподалеку от Фернхерста, он заметил: “А сюда въехали новые жильцы; пожалуй, надо зайти представиться”. Как человека стеснительного, меня ужаснула эта идея, и я стал умолять дядю не оставаться ужинать, как бы ни повернулось дело. Он обещал, но слова своего, к моей радости, не сдержал. Нашими новыми соседями оказалась американская семья Пирселл-Смит, состоявшая из отца и матери, людей уже немолодых, дочери с мужем, носивших фамилию Костелло, младшей дочери, учившейся в колледже Брин-Мор¹ и приехавшей на каникулы к родителям, а также сына, студента Бейллиола. В свое время Пирселл-Смит и его жена были знаменитыми евангелистскими проповедниками, но вследствие скандала, разгоревшегося из-за того, что его застали целующимся с молодой женщиной, он отошел от веры, а мать семейства слишком состарилась, чтобы вести столь утомительный образ жизни. Их зять Костелло, очень умный человек и радикал по убеждениям, входил в совет Лондонского графства. Он приехал из Лондона, когда мы уже сидели за столом, и стал рассказывать последние новости о проходившей тогда забастовке докеров. Забастовка эта была очень важным и знаменательным событием, свидетельствовавшим о том, что профсоюзное движение начало проникать в низы и, значит, вошло в свою следующую фазу. Я слушал его разинув рот, так как понимал, что он только что побывал в самой гуще жизни. Студент Бейллиола ронял блистательные сентенции и казался всезнайкой, судившим обо всем с презрительной бесшабашностью. Но больше всего меня заинтересовала дочь, приехавшая из колледжа Брин-Мор. Она была писаная красавица, в подтверждение чего приведу отрывок из одной статьи, опубликованной 10 мая 1921 года в газете “Бюллетень” в Глазго: “Помню, что впервые встретил миссис Бертран Рассел более двадцати лет тому назад в Эдинбурге на каком-то городском празднестве или приеме (возможно, в честь делегатов Общества трезвости). В ту пору она была одной из самых красивых женщин, каких только можно вообразить себе, причем, несмотря на квакерское происхождение, держалась с какой-то прирожденной царственной величавостью. У всех присутствовавших она вызвала такое восхищение, что со всей надлежащей почтительностью и скромностью, как и пристало эдин-

1. Известный частный колледж высшей ступени в г. Брин-Мор штата Пенсильвания; основан в 1880 г. квакерами как колледж для женщин.

буржцам, мы объявили ее царицей вечера”. Она была более эмансипирована, чем остальные знакомые мне девушки: училась в колледже, одна приехала в Англию из Америки на пароходе и, как вскоре выяснилось, дружила с Уолтом Уитменом. Она спросила, не случилось ли мне читать Экхарта, а я как раз дочитал его утром, что счел счастливым предзнаменованием. Она была приветлива, и я совсем не робел ее. Влюбился я с первого взгляда. В то лето я больше не встречался ни с кем из них, но впоследствии, приезжая к дяде Ролло на три летних месяца, каждое воскресенье проделывал четыре мили пешком, чтобы, появившись к ланчу, остаться до самого ужина, после которого, по обычаю этой семьи, все отправлялись в лес и, усевшись в кружок у костра, пели негритянские спиричуэлс, в те дни в Англии неизвестные. Мне, как и Гёте, Америка представлялась романтическим краем свободы, а мои американские знакомые и впрямь были свободны от многих предрассудков, сковывавших меня дома, в том числе и от диктата хорошего тона, что больше всего и пленяло. У них в доме я впервые встретил Сидни Уэбба, тогда еще холостого.

Сидни и Беатрис Уэбб, с которыми я близко дружил в течение многих лет, а иногда даже и вместе жил, являли собой самую гармоничную супружескую пару, какую мне только доводилось видеть. Однако романтическое отношение к любви и браку внушало им едва ли не гадливость: брак был одной из социальных институций, предназначенной направлять инстинкт в русло закона. Первые десять лет совместной жизни миссис Уэбб время от времени роняла: “Брак — это мусорная корзина для эмоций”. Позже наметились кое-какие перемены. Приглашая на уик-энды какую-нибудь супружескую чету и совершая в воскресенье короткую бодрящую прогулку парами — Беатрис с гостем, Сидни с гостьей, — Сидни в какую-то минуту произносил: “Я знаю, что сейчас говорит Беатрис. Она говорит: ‘Как всегда повторяет Сидни, брак — это мусорная корзина для эмоций’”. Принадлежало ли исконно это изречение Сидни, покрыто мраком неизвестности.

С Сидни я познакомился еще до его женитьбы на Беатрис. Тогда он представлял собой величину гораздо меньшую, чем половина того человеческого тандема, каким они стали поженившись. Их сотрудничество было поистине взаимодополняющим. Я всегда считал — хотя, наверное, это упрощение, да и звучит недостаточно уважительно, — что она придумывает, а он действует. По-моему, он был самым работоспособным человеком из всех, кого я знал. Когда они с Беатрис писали книгу о местном самоуправлении, они разослали циркулярные письма с вопросами к местным чиновникам по всей стране, указав, что данный конкретный чиновник сможет получить книгу, над которой они работают, на законном основании, вычтя ее стоимость из налоговых сборов. Когда я сдал им свой дом, почтальон ближайшего отделения, социалист по убеждениям, не знал, гордиться ли ему тем, что он их обслуживает, или горевать от того, что ему ежедневно приходится таскать по тысяче ответов на их циркуляры. Уэбб начинал как чиновник второго класса в министерстве по делам государственной службы, но благодаря огромному трудолюбию поднялся до первого класса. Ему была свойственна излишняя серьезность — он не терпел кошунственных шуток по поводу святынь вроде политической теории. Так, например, в ответ на мое замечание, что у демократии есть по крайней мере одно преимущество: член парламента

не может быть глупее своих избирателей, ибо чем он глупее, тем стократ глупее должны быть избравшие его, — Уэбб страшно рассердился и осадил меня: “Я не одобряю такого рода аргументов”.

Миссис Уэбб отличалась бо́льшей широтой, чем муж. Так, она способна была испытывать неподдельный интерес к конкретным человеческим особям, даже совершенно бесполезным. Будучи истово верующей, не принадлежала ни к одной конфессии, но как социалистка предпочитала англиканскую церковь — государственную. Она была одной из девяти дочерей человека по имени Поттер, выбившегося из низов и сколотившего почти все свое состояние на строительстве солдатских бараков в Крыму. Он стал последователем Герберта Спенсера, и миссис Уэбб являла собой блестящий продукт воспитательных теорий этого философа. Неприятно признаваться, но моя мать, которая жила неподалеку от миссис Уэбб в деревне, охарактеризовала ее в своем дневнике как “бабочку-однодневку” в сфере социальной работы, однако можно полагать, что, узнав ее получше, переменяла бы свое мнение к лучшему. Когда миссис Уэбб заинтересовалась социализмом, она решила подвергнуть фабианцев, и прежде всего знаменитую трицу: Уэбба, Шоу и Грэма Уоллеса¹ — испытанию. Состоялось нечто вроде суда Париса, где мужчины заняли место женщин и Сидни сыграл роль Афродиты.

Уэбб жил на свои заработки до тех пор, пока Беатрис не обрела скромный достаток в виде отцовского наследства. Беатрис сохранила привычку к сословным привилегиям, чего начисто лишен был Сидни. Поняв, что им хватает денег и без жалования Сидни, они решили посвятить себя научным исследованиям и высшим формам пропаганды. Их книги делают честь их трудолюбию, а Школа экономики² — организаторским способностям Сидни. Но не думаю, что при тех же способностях он добился бы в жизни хоть половины такого успеха, если бы у него не было опоры в виде Беатрис с ее самоуверенностью. Я как-то спросил у нее, страдала ли она когда-нибудь в юности застенчивостью. “Ну нет, — ответила она, — если бы, входя в набитую людьми комнату, я ощутила хотя бы тень смущения, я бы сказала себе: “Ты самая умная из всех в самой умной семье самого умного класса самого умного народа в мире, чего тебе бояться?”

Я любил миссис Уэбб и восхищался ею, хотя не разделял ее мнений по очень многим важным вопросам. Прежде всего и больше всего я восхищался ее способностями, поистине огромными. Кроме того, я восхищался ее цельностью: посвятив себя общественным интересам, она никогда не позволяла себе отклониться, поддаться личным амбициям, которых не была лишена. Я любил ее как дорогого, преданного друга всех тех, кого она дарила личной привязанностью. Но я не принимал ее взглядов на религию, на империализм, я не был согласен с ее обожествлением государства, составлявшим самую суть фабианства. По-моему, это привело и обоих Уэббов, и Шоу к неоправданной терпимости по отношению к Муссолини и Гитлеру и в конце концов к глупейшему низкопоклонству перед советским правительством.

Но на свете не бывает абсолютно последовательных людей. Я как-то сказал Шоу, что Уэббу, по-моему, недостает отзывчивости. “Не скажи-

1. Грэм Уоллес (1858–1932) — английский социолог и политолог, член Фабианского общества.
2. Лондонская школа экономики — колледж Лондонского университета; основан в 1895 г.

те! — возразил Шоу. — Как-то в Голландии мы с Уэббом ехали в трамвае и подкреплялись печеньем. В этот же вагон полицейские ввели преступника в наручниках. Пассажиры в ужасе шарахнулись от него, а Уэбб подошел к заключенному и отдал пачку”. Я всегда напоминаю себе об этом случае, когда чувствую, что слишком критически настроен по отношению к Уэббу или Шоу.

Некоторых людей Уэббы ненавидели. Ненавидели Уэллса — за то, что он оскорбил строгую викторианскую мораль миссис Уэбб, за то, что пытался свергнуть Уэбба с престола в Фабианском обществе. Ненавидели с самого начала Рамсея Макдональда¹. Самый лестный отзыв о нем, какой мне довелось от них услышать, исходил от миссис Уэбб в пору, когда формировалось первое лейбористское правительство, она сказала тогда, что он отличный исполняющий обязанности партийного лидера.

Как у политиков, у них была довольно любопытная история. Сначала они кооперировались с консерваторами, потому что миссис Уэбб понравилось, что Артур Бальфур² намеревался дать больше денег церковным школам. Когда в 1906 году консервативное правительство пало, Уэббы сделали несколько слабых и бесплодных попыток объединиться с либералами. Но потом догадались, что как социалисты больше придется ко двору в лейбористской партии, верными членами которой и стали.

В течение многих лет миссис Уэбб постоянно постилась, отчасти для оздоровления, отчасти из религиозных соображений. Она никогда не завтракала и ограничивалась очень скудным обедом. Плотно ела она лишь за ланчем, на который обычно приглашала немало важных шишек. Но к назначенному времени она уже испытывала такой голод, что, как только объявляли, что стол накрыт, стремительно неслась вперед, опередив гостей, и немедленно начинала есть. Тем не менее она верила, что голодание придает ей большую духовность, и призналась мне, что благодаря недоеданию у нее бывают чудесные видения. “Да, — отзывался я, — когда ешь слишком мало, чудится всякое-разное, а когда пьешь слишком много, чудится только зеленый змий”. Боюсь, мое замечание показалось ей непозволительно дерзким. Уэбб не разделял ее религиозных убеждений, но относился к ним вполне терпимо, несмотря на неудобства, которые порою из-за этого испытывал. Когда мы вместе жили в гостинице в Нормандии, она никогда не спускалась к завтраку, так как не могла вынести вида наших жующих физиономий. Сидни, конечно, спускался выпить кофе с булочками. Но в первое утро она прислала вниз горничную с сообщением: “Нам не нужно масла на завтрак для Сидни”, — это неизменное “нам” очень умиляло ее друзей.

Оба они были людьми глубоко недемократичными и считали, что втирать очки простому народу и окорачивать его — прямая обязанность государственного деятеля. Я понял, откуда идут представления миссис Уэбб о государственном управлении, когда она рассказала, как проходили акционерные собрания в компании ее отца. Она усвоила его идеи, а он полагал, что дело директоров — указывать пайщикам их место, и точ-

1. Джеймс Рамсей Макдональд (1866–1937) — английский государственный деятель, основатель и лидер лейбористской партии, с 1920 по 1935 г. неоднократно занимал пост премьер-министра Англии.

2. Артур Джеймс Бальфур (1848–1930) — премьер-министр Великобритании (1902–1905) от консервативной партии.

но так же, по ее мнению, должно было вести себя правительство по отношению к избирателям.

Отцовские рассказы о перипетиях его карьеры вовсе не вызвали у нее неподобающей непочтительности к великим мира сего. После того как он построил зимние бараки для французских солдат в Крыму, он отправился в Париж за деньгами. На строительство он потратил почти все, что имел, и ему жизненно важно было, чтобы с ним расплатились. Но хотя все в Париже признавали задолженность, чека ему все никак не выдавали. Наконец как-то раз он встретил лорда Брасси, который приехал в Париж с похожим поручением. Когда мистер Поттер рассказал о своих передрыгах, лорд Брасси ответил ему со смехом: “Милейший, вы просто не знаете входов и выходов. Нужно дать пятьдесят фунтов министру и по пять каждому из его подчиненных”. Сказано — сделано, и на следующий день появился чек.

Сидни без колебаний прибегал к уловкам, которые многим показались бы неблагоприятными. Например, он рассказывал мне, что, когда хочет провести через комитет какое-то решение, которое не поддерживается большинством, он выносит резолюцию, где спорный пункт упоминается дважды. При первом обсуждении он ведет долгие дебаты и в конце концов деликатно отступает. Можно ставить девять против десяти, заверял меня он, никто не заметит, что этот же самый пункт упоминается в резолюции второй раз.

Уэббы сделали очень много для английского социализма, который благодаря им обрел стержень. Они сделали примерно то же самое, что последователи Бентама раньше сделали для радикалов. У бентамистов и Уэббов была известная жесткость, известная сухость — уверенность, что эмоциям место в мусорной корзине. Но при этом и бентамисты, и Уэббы втолковали свои доктрины энтузиастам. Бентам и Роберт Оуэн сумели оставить после себя интеллектуально устойчивое “потомство”, и это же удалось Уэббам и Кейру Харди. Никто не может даровать людям все блага, придающие смысл человеческой жизни, и если удастся внести в эту жизнь хоть толику желаемого — это уже предел разумных ожиданий. Уэббы выдержали это испытание — если бы не они, Британская лейбористская партия, несомненно, была бы куда более аморфной и нецивилизованной. Их мантия досталась их племяннику сэру Стаффорду Криппсу; не будь их, британская демократия не прошла бы так же спокойно через бурные годы, выпавшие нам всем на долю.

Когда я сказал дома, что познакомился с Сидни Уэббом, бабушка ответила, что слушала как-то его лекцию в Ричмонде и что он “не совсем...”. “Не совсем что?” — не отступал я. “Не совсем джентльмен по мыслям и манерам”. От подобных замечаний я искал защиты у Пирселл-Смитов. Среди них я был счастлив, разговорчив, переставал конфузиться. Они настолько раскрепостили меня, что я даже почувствовал себя умным. У них в доме я встречался с интересными людьми, такими, как Уильям Джеймс. Логен Пирселл-Смит вразумлял меня по части культурных веяний 90-х: Флобер, Уолтер Пейтер¹ и так далее. Он сообщил мне четыре принципа хорошего слога: “Ставить запятую перед каждым пятым словом”; “Не пользоваться союзом “и” — разве что в начале

1. Уолтер Пейтер (1839–1894) — английский критик, искусствовед, писатель, близкий к префаэлитам.

предложения” и т. п., и я выучился писать, перебивая себя бесконечными скобками, в стиле Уолтера Пейтера. Усвоил, что положено говорить о Мане и Моне, а также о Дега, которые в те дни были тем, чем впоследствии стали Матисс и Пикассо.

[132]

ИЛ 12/2000

От Логена Пирселла-Смита, который был семью годами старше меня, я получил множество нравственных советов. Сам он в то время осциллировал между филладельфийским квакерством и богемой Латинского квартала. По своим политическим взглядам он принадлежал к социалистам, его обратил в свою веру Грэм Уоллес, один из основателей Фабианского общества (впоследствии сам вернувшийся к либерализму). Логен пытался скрестить квакерскую филантропию с социалистическим символом веры. Что касается секса, он тогда придерживался самых аскетических, даже, пожалуй, манихейских принципов, хотя на религию смотрел как агностик. Он мечтал внушить молодым вольнодумцам мысль о необходимости высочайшей самодисциплины и самоограничения. С этой целью он организовал общество — Орден педантов, как он называл его в шутку, — членом которого я стал и правилам которого подчинялся в течение нескольких лет.

Время шло, и с каждым годом я все больше привязывался к Элис — незамужней дочери Пирселл-Смитов. Она была не такая дерзкая, как ее брат Логен, и не такая безответственная, как ее сестра миссис Костелло. Казалось, все ее существо излучает обыкновенную человеческую доброту, к которой, несмотря на Пембрук-лодж, я не переставал тянуться, доброту, не замутненную предвзятостью и педантизмом. Я боялся, что она выйдет замуж раньше, чем я вырасту, ведь она была пятью годами старше меня. Наверяд ли она до тех пор останется незамужней, но если останется, решил я, попрошу ее стать моей женой. Помню, как-то мы поехали с ней и ее братом навестить судью Вона Уильямса (чья жена носила елизаветинские плоеные воротники и вообще поражала всяческими неожиданностями), по дороге они выпытали у меня, что я верю в любовь с первого взгляда, и стали прохаживаться насчет моей сентиментальности. Меня это страшно уязвило, ведь я не мог признаться, что заставляет меня так думать. Я понимал — Элис была не то, что бабушка называла “леди”, но находил, что она вылитая остеновская Элизабет Беннет, и, пожалуй, втайне наслаждался собственной непредубежденностью.

В мае 1893 года я достиг совершеннолетия, и мои отношения с Элис переросли в нечто более серьезное, чем безмолвное обожание. На кембриджском трайпосе — публичном экзамене на степень бакалавра с отличием, — я стал седьмым по счету ранглером¹ и обрел независимость, правовую и финансовую. Элис приехала в Кембридж со своей кузиной, и мне представилась возможность говорить с ней свободнее, чем раньше. Она приехала еще раз, когда начались летние каникулы, с той же кузиной, но я уговорил ее задержаться на день после отъезда родственницы. Мы гуляли вдоль реки и обсуждали проблему развода, причем она была настроена менее воинственно, чем я. Теоретически она была сторонницей свободной любви — что меня восхищало, хотя сам я придерживался более строгих взглядов, — но одновременно страшно стыдилась ухода сестры от мужа к художественному критику Беренсону, и это

1. Ранглер — выпускник, занявший второе место на экзамене по математике в Кембриджском университете.

весьма меня озадачивало. В самом деле, лишь после нашей свадьбы она согласилась познакомиться с Беренсоном. Меня очень вдохновил ее второй визит в Кембридж, и мы стали постоянно переписываться. Я больше не проводил лето в Хезлмире, потому что бабушка и тетя Агата не ладили со второй женой дяди Ролло, но 13 сентября отправился во Фрайдейз-хилл с двухдневным визитом. Теплый воздух был напоен золотом, не доносилось ни малейшего дуновения, утром в долине лежала дымка. Помню, что Логен позволил себе издеваться над “золотыми дымками” Шелли, а я в ответ стал подтрунивать над ним самим, говоря, что дымку можно было увидеть и сегодня, но для этого нужно раньше просыпаться. Сам я встал на рассвете, потому что мы с Элис договорились прогуляться перед завтраком. Мы пошли на холм и уселись в буковом лесочке, в дивном месте, напоминавшем раннеготический собор с узкими оконницами, образованными просветами между стволами, сквозь которые виднелась расстилавшаяся во все стороны равнина. Утро было свежее, росистое, и пока мы там сидели, я думал, что все это, наверное, и есть человеческое счастье. Однако неизменная робость помешала мне перейти от чувств к словам. Завтрак давно закончился, когда я, преодолевая тревогу и неуверенность в себе, сделал ей предложение по всей форме, в соответствии с обычаем того времени. В ответ я не получил ни согласия, ни отказа. Мне даже не пришло в голову, что можно поцеловать ее или хотя бы взять за руку. Мы договорились, что будем видеться и переписываться по-старому, а там пусть все решит время. Это произошло в саду, а когда мы сели за ланч, подали письмо от леди Генри Сомерсет, которая приглашала Элис приехать на Всемирную чикагскую ярмарку, чтобы поучаствовать в пропаганде трезвости — добродетели, которой, как считалось в ту пору, Америке сильно недоставало. Элис, перенявшая у своей матери горячую веру в полное трезвенничество, страшно обрадовалась открывшейся возможности. Она торжествующим тоном прочла письмо вслух и сказала, что, конечно, поедет, и я сразу почувствовал себя таким маленьким-маленьким, ведь это означало многомесячную разлуку, а для нее, быть может, и начало заманчивой карьеры.

Вернувшись домой, я сказал бабушке и тетке, что сделал предложение, и в ответ получил весь стандартный набор сословных предрассудков: она не леди, она охотится за детьми, она безродная аферистка, продажная бестия, пользующаяся моей неопытностью, плебейка, которой неведомы тонкие чувства, особа, чьей вульгарности я буду стыдиться. Но я уже получил наследство — 20 000 фунтов, которые мне завещал отец, и не обращал внимания на их слова. Отношения у нас стали очень натянутыми и оставались таковыми до тех пор, пока я не женился.

Все это время я вел дневник, который записывал на замочек и тщательно скрывал ото всех. Туда я записывал свои разговоры с бабушкой об Элис и возникавшие у меня в связи с этим чувства. А вскоре мне в руки попался дневник моего отца, где часть записей была застенографирована (видимо, тоже для того, чтобы сохранить их в тайне), и я узнал, что примерно в том же возрасте, в каком я сделал предложение Элис, он попросил руки моей матери, и бабушка говорила ему почти то же самое, что говорила мне, и он записывал в свой дневник чуть ли не те же мысли, какие записывал я в свой. От этого у меня появилось жуткое чувство,

будто я живу не своей жизнью, а переживаю заново жизнь отца, и меня стал мучить суеверный страх перед наследственностью¹.

Несмотря на сильную влюбленность, у меня не было осознанной потребности в физической близости. Более того, когда однажды мне приснился эротический сон, в котором мое чувство обрело более реальные проявления, я ощутил, что любовь опошлена. Но со временем природа сделала свое дело.

Следующим важным днем стало 4 января 1894 года, когда я приехал из Ричмонда па Гроувнор-роуд, 44, где жили родители Элис. В тот день был сильный снегопад, Лондон буквально утопал в снегу, и я брел из Воксхолла по снежной пороше дюймов в шесть глубиной. От всего этого возникало странное ощущение замкнутого пространства — тишина в городе стояла такая, как на одинокой снежной вершине. В тот день я впервые поцеловал Элис. Все мое знание женщин исчерпывалось заигрываниями с горничной, о которой я рассказывал выше, я и не подозревал, какое упоительное счастье — целовать любимую женщину. Хотя Элис по-прежнему колебалась, выходить ей за меня замуж или нет, мы весь день только и делали, что целовались, отвлекаясь лишь на еду, и, кажется, не обменялись ни единым словом, если не считать моей декламации “Эпиписхиона”². Домой я вернулся поздно — полторы мили шел пешком сквозь метель, устал, но чувствовал себя на седьмом небе.

Следующие два месяца, пока шел мой очередной семестр в Кембридже, настроение Элис все время менялось. То она страстно хотела выйти за меня замуж, то твердо решала сохранить свободу. Я тогда очень упорно занимался, потому что мне предстояло в течение года сдать вторую половину трайпоса по этике, но любовь, надо заметить, безоблачная или трудная, никогда не мешала моему умственному сосредоточению. Наступили пасхальные каникулы, и сначала я поехал с тетей Мод в гости к своему дяде епископу, а оттуда в Париж, где у Логена была собственная квартира, по соседству с которой остановились и Элис с матерью. Тогда я впервые познакомился с образом жизни американских студентов, приезжавших в Париж изучать искусство, и, на мой тогдашний взгляд, это было очень свободное и веселое житье. Помню, как Элис явилась на танцы в платье от Роджера Фрая. Помню также, как мои друзья пытались, впрочем довольно безуспешно, приобщить меня к живописи на выставке импрессионистов, проходившей в Люксембургском саду. Еще помню, как мы плыли на пароходике по ночной Сене мимо Фонтенбло, рядом стояла Элис, а Логен тревожил тишину своими безупречными силлогизмами. Когда я вернулся в Кембридж, Джеймс Уорд сделал мне выговор: я-де, вместо того чтобы работать, все каникулы прохлаждался на континенте. Но я не слишком огорчился и все равно получил степень бакалавра с отличием.

К тому времени, когда я разделался с трайпосами, Элис окончательно согласилась стать моей женой. Тут мои родственники, не перестававшие вести позиционную войну, осознали, что пора пустить в ход тяжелую артиллерию, ибо контролировать мои поступки они не могли, а их

1. В письме к Элис от 2 сентября 1894 года я писал: “Тетя Джорджи (леди Джорджиана Пил, падчерица моей бабушки) вчера была очень добра, но невыносимо любопытна (как, впрочем, большинство женщин); она сказала, что даже в давние времена при малейшем намеке на женитьбу у бабушки начиналось что-то вроде лихорадки, она всегда суеулилась и подымала вокруг этого шум. (Прим. автора.)”

2. Поэма Перси Бишпа Шелли.

филиппики в адрес Элис, само собой, не производили желаемого действия. И они нашли подходящее оружие — еще немного, и оно бы привело их к победе. Семейный доктор, уже фигурировавший на этих страницах насупленный старик шотландец с бачками, принялся вводить меня в подробности нашей семейной истории, раньше лишь смутно мной подозреваемые: мой дядя Уильям сошел с ума; у тети Агаты после помолвки появились галлюцинации, что и привело к разрыву ее отношений с женихом; мой отец страдал эпилепсией (судя по тому, что мне потом рассказывали об этой болезни серьезные врачи, диагноз представляется сомнительным). В те дни люди, считавшие себя апологетами науки, были одержимы прямо-таки суеверным страхом перед наследственностью, к тому же тогда еще не была установлена связь между умственными расстройствами и отрицательным влиянием окружающей среды и неправильного воспитания. У меня появилось чувство роковой предопределенности. Я прочел “Привидения” Ибсена и “Наследие Курцев” Бьёрнсона. Выяснилось, что у Элис тоже был дядя с большими странностями. Подчеркивая эти обстоятельства с упорством, которое и меня самого чуть не довело до умопомешательства, родственники убедили нас с Элис получить врачебное заключение о том, грозит ли нашему потомству психическая неполноценность. Лучшее медицинское светило, проинструктированное нашим семейным доктором, накрученным, в свою очередь, моими родственниками, постановило, как и следовало ожидать, что, принимая во внимание наследственность, нам нельзя иметь детей. Этот вердикт мы с Элис выслушали в доме семейного врача в Ричмонде, после чего ходили кругами по Ричмонд-Грин и решали, что нам делать. Я был за то, чтобы отказаться от женитьбы, так как поверил докторским словам и очень хотел иметь потомство, а Элис говорила, что не очень хочет детей и предпочитает выйти замуж и жить вдвоем. Так мы проспорили примерно полчаса, и я с ней согласился. В конце концов мы объявили родственникам, что намерены пожениться, но детей у нас не будет. О контроле над рождаемостью в то время говорили не иначе как с ужасом, который он теперь внушает разве что католикам. Мои близкие и доктор буквально рвали на себе волосы. Последний торжественно заявил, что его опыт однозначно свидетельствует о том, что применение противозачаточных средств ведет к неизбежному расстройству здоровья. Бабушка намекнула, что эти средства и довели моего отца до эпилепсии. Воздух сотрясился от вздохов, стонов, всхлипов, в обстановке болезненного страха и напряжения буквально невозможно было дышать. Узнав, что мой отец страдал эпилепсией, тетя — галлюцинациями, а дядя — помешательством, я содрогнулся, ибо в то время все люди, относившиеся с уважением к науке, свято верили в неотвратимость наследственного сумасшествия. Эту мистическую веру исповедовал и я, хотя не располагал никакими надежными медицинскими сведениями. 21 июля 1893 года (в день рождения Элис, как я узнал позже) мне приснилось, что моя мать не умерла, а сошла с ума и поэтому я должен отказаться от брака. Какого труда мне стоило преодолеть страх, владевший мной с тех пор, как я узнал все вышесказанное, видно из следующих заметок, которые я сделал тогда, но не показал никому, даже Элис (она прочла их много позже):

20–21 июля (1894). Полночь. Сегодня годовщина моего сна об Элис (и соответственно день ее рождения). Это странное совпадение, как и то, что почти все приснившееся сбылось, сильно подействовало на мое воображение. Я всегда был суеверен и от счастья стал только суевернее: страшно, когда ты так сосредоточен на другом человеке. Все, что не связано с ней, не имеет для меня никакой цены. Даже на свою карьеру, на свое моральное самосовершенствование, на свой ум (каков бы он ни был), на все, что я обрел или надеюсь обрести, я смотрю лишь как на потенциальный дар моей жене, все это для меня не более чем способ показать, как невыразимо много значит для меня ее любовь. Я счастлив, божественно счастлив. Более того, я по-прежнему могу утверждать, что моя страсть лишена похоти. Но как раз тогда, когда я абсолютно счастлив и моя радость кристально чиста, она вдруг выходит за свои пределы и разбивается о снедающий меня страх утраты – иначе было бы слишком легко любить то, что покоится на таком хрупком и шатком основании! Мой сон в день ее рождения; последовавшее затем открытие, что моя семья и в самом деле обманула меня, обманула точно так, как во сне; эти их торжественные и назойливые предупреждения; эти семейные трагедии, открывавшиеся мне одна за другой, безнадежные, ничем не разрешившиеся, сокрушившие жизнь почти всех моих близких; и хуже всего, этот неизбежный мрак, повисший, как фатум, над П.-л.¹, который, стоит лишь туда приехать, проникает мне в самую душу и, как я ни борюсь, вытравляет радость из всего, даже из любви Элис, к чему примешивается еще и страх перед наследственностью. Все это неизбежно разъедает душу, заставляет верить, что на семье лежит какое-то проклятье и я тщетно бьюсь, чтобы вырваться на волю, а ведь это естественная привилегия других людей. Хуже всего то, что страх неизбежно распространяется и на Элис. Мне кажется, что тьма – моя природная стихия и что по воле злого рока я, вместо того чтобы выйти к свету, тащу ее назад, в пропасть, откуда и сам выбрался лишь наполовину. Не знаю, чем грозит рок: внезапным ударом или долгой пыткой, выматывающей силы и убивающей любовь, но меня не оставляет страх перед семейным призраком, который, я это чувствую, тянет ко мне свои липкие щупальца и вот-вот схватит, лишь бы не дать вырваться из этого вечного сумрака.

Все эти чувства – просто бред, причина которого главным образом – шоколадный торт и поздние отходы ко сну, но тем не менее чувства эти реальны и по любому поводу овладевают мной с неодолимой силой. Как ни больно это будет моим родственникам, я должен некоторое время почти не навещать их и П.-л., иначе мне и впрямь придется опасаться за свой рассудок. П.-л. для меня все равно что фамильный склеп, где обитают призраки маньяков, особенно с тех пор, как я все знаю от доктора Андерсона. А здесь, благодаренье Богу, все светло и дышит здоровьем, и самое лучшее – моя Элис. Если я сумею забыть П.-л. и ужасное завещанное мне наследство, я перестану терзаться дурными предчувствиями, а буду испытывать лишь чистую радость разделенной любви, радость столь великую и дивную, что я не перестану изумляться, как она вообще возможна в этом проклинаемом людьми мире. Но как бы я хотел знать, что он в конце концов даст ей радость, а не продемонстрирует, как уже было начал, сколь ужасна порою жизнь и какая пучина горя в ней скрывается.

Зародившиеся в то время страхи подсознательно мучили меня потом всю жизнь. Тогда же появились и неведомые прежде ночные кошмары: меня вроде бы убивали, и чаще всего убийца был маньяком. Я стал

кричать во сне, а как-то ночью чуть не задушил жену, так как мне привиделось, что я защищаю свою жизнь в смертельной схватке.

Из-за этих же страхов я в течение многих лет по возможности старался избегать любых душевных волнений и жил интеллектуальной жизнью, приправленной долей легкомыслия. Благодаря счастливому браку я постепенно обрел психическое равновесие, и если впоследствии на мою долю выпадали душевные бури, рассудок никогда меня не подводил и я больше не испытывал сознательного страха перед сумасшествием, но бессознательный — остался.

Если я и мучился сомнениями по поводу того, как нам с Элис следует поступить, то все они улетучились, когда нам попался врач, который бодро меня заверил, что нет никаких причин опасаться противозачаточных средств, — он сам много лет ими пользовался и ничего плохого не случилось, мы попросту сваем дурака, если не поженимся. И мы смело двинулись вперед, презрев оскорбленные чувства двух поколений. После двух лет совместной жизни мы и сами пришли к заключению, что то, что нам внушали наши консультанты-эскулапы, было полной чепухой, и решили завести детей. Но оказалось, что Элис бесплодна и весь шум был из ничего.

Вся эта скандальная история со сватовством привела к тому, что я переехал во Фрайдейз-хилл к родителям Элис и засел за диссертацию, темой которой избрал неевклидову геометрию. Почти ежедневно я получал письма от родственников на тему “тот образ жизни, который ты ведешь”, но мне было ясно, что, если я дам им волю, они доведут меня до безумия и что от Элис я набираюсь душевного здоровья. Мы с ней все больше и больше сближались.

Но мои родичи не желали сдаваться. В августе они уговорили посла в Париже, лорда Дафферина, предложить мне пост атташе. У меня не было ни малейшего желания соглашаться, но бабушка сказала, что ей не так много осталось жить на этом свете и мой долг — помочь ей удостовериться, что разлука не способна исцелить меня от безрассудной страсти. Я не хотел, чтобы меня мучили угрызения совести, когда она будет лежать на смертном одре, и согласился поехать, но ровно на три месяца и при условии, что, если мои чувства не переменятся, семья перестанет чинить препятствия нашей свадьбе. Моя дипломатическая карьера оказалась недолгой и бесславной. Я возненавидел и работу, и людей, и тамошнюю атмосферу цинизма, и разлуку с Элис. В Париж ко мне приехал брат с тайным поручением, мне тогда, конечно, неизвестным, разведать обстановку. Он решительно занял мою сторону, и 17 ноября, в день, когда истекали назначенные три месяца, я отряхнул с ног прах Парижа и вернулся к Элис. Правда, первым делом нам предстояло помириться, потому что она приревновала меня к своей сестре, с которой я и впрямь очень часто виделся под конец моей парижской жизни. Надо лишь прибавить, что на достижение полного и окончательного мира ушло минут десять.

Единственным по-настоящему ценным парижским приобретением стала моя дружба с Джонатаном Стерджессом, к которому я питал большую нежность. Оказавшись много лет спустя после его смерти в Рэе, в доме Генри Джеймса, (тогда там был музей), я вдруг увидел на стене портрет Стерджесса. Мне это так разбередило душу, что из всего осмотра мне только и запомнилось, что этот портрет. Стерджесс был калекой,

наделенным тончайшей чувствительностью, человеком литературным до мозга костей и принадлежавшим к тому кругу, который трудно назвать иначе, как американская аристократия (он приходился племянником Дж. П. Моргану). Он был невероятно остроумен. Как-то раз, когда я повел его в сад университетского совета в Тринити, он сказал: "А, это то самое место, где Джордж Элиот сказала Майерсу¹, что Бога нет, но мы все равно должны быть хорошими; а Майерс подумал и решил, что Бог есть, но можно быть и нехорошими". В Париже я виделся с ним очень часто, и это послужило началом дружбы, закончившейся лишь с его смертью. <...>

Первый брак

Мы с Элис поженились 13 декабря 1894 года. Ее предки более двухсот лет принадлежали к филадельфийским квакерам, и она оставалась верующей, входившей в Общество друзей. Поэтому венчание состоялось в квакерском собрании па Сент-Мартинс-лейп. Не помню точно, не, кажется, один из квакеров, ощутивший сошествие "внутреннего света", произнес проповедь о чуде в Кане Галилейской, чем задел чувства Элис как сторонницы трезвенности. Во время помолвки мы часто спорили на темы христианства, но повлиять на ее взгляды мне удалось лишь через несколько лет совместной жизни.

После замужества переменились и другие ее взгляды. Как всякая американка своего времени, она была воспитана в убеждении, что секс — животное начало и что счастьем в браке больше всего мешает низменная мужская похоть. Физическая близость допустима, считала она, только если супруги хотят иметь детей, но так как мы не собирались их иметь, ей пришлось смягчить свою позицию. И все же она считала, что, выйдя замуж, предпочтет как можно реже вступать в интимные отношения. Я не стал переубеждать ее, но этого и не потребовалось.

До женитьбы ни у нее, ни у меня не было опыта половой жизни. И нам, как, несомненно, и другим парам, пришлось сначала трудно. Я много раз слышал от разных людей, что из-за этого их медовый месяц превратился в пытку, но с нами ничего такого не произошло. Трудности мы воспринимали юмористически и быстро с ними справились. Однако помнится, недели через три после свадьбы я так устал от любовных подвигов, что испытывал к Элис одну лишь ненависть и не мог понять, зачем мне понадобилось жениться на ней. Но это настроение продержалось ровно столько, сколько занял переезд из Амстердама в Берлин, и больше никогда не повторялось.

Мы решили, что в первые годы после женитьбы должны повидавать разные страны, и начали с того, что провели три месяца в Берлине. Там я ходил в университет, где главным образом занимался экономикой, но не оставлял работы и над диссертацией. Три раза в неделю мы посещали концерты, а также свели знакомство с социал-демократами, которые тогда считались очень опасными людьми. Леди Эрминтруд Мале, жена посла, была моей кузиной, и нас часто приглашали в посольство на обе-

1. Фредерик Уильям Майерс (1843–1901) — английский поэт, эссеист; основатель Общества психических исследований.

ды. Принимали нас очень любезно, все атташе обещали нас проводить, но никто так ни разу и не появился, а когда мы стали наносить им визиты, никого никогда не заставляли дома. Мы долго не придавали этому значения, а потом вдруг выяснилось, что весь этот афронт получился из-за нашего посещения собрания социалистов, о котором Элис невзначай упомянула в разговоре с послом. Сообщила нам об этом бабушка, получившая письмо от леди Эрминтруд, но как бы ни была бабушка настроена против Элис, она тотчас встала на ее сторону. Ведь это был общественный вопрос, а по всем общественно-политическим вопросам мы могли твердо рассчитывать на их с тетей Агатой либеральную позицию.

Примерно в то же время обрели форму и мои интеллектуальные стремления. Я решил не замыкаться в рамках той или иной профессии, а писать. Хорошо помню холодный, ясный день ранней весны, я хожу по Тиргартену и строю планы. Я задумал тогда написать серию книг по философии науки: от чистой математики до физиологии, и еще одну серию — по социальным вопросам, в надежде, что обе в конце концов соединятся и образуют синтез, и теоретический, и практический. План этот был продиктован главным образом гегелевскими идеями; тем не менее впоследствии я сколько мог придерживался его. То была важная минута выбора жизненных целей.

Весной мы с Элис перебрались во Фьезоле, к ее сестре, снимавшей небольшую виллу, рядом с которой в точно такой же игрушечной вилле жил Беренсон. Потом мы путешествовали по Адриатическому побережью, делая остановки в Пезаро, Урбино, Равенне, Римини, Анконе и многих других местах. Все это вспоминается как очень счастливое время: Италия, весна, первая любовь, — в такой обстановке возникал бы и самый большой брызга. Мы купались в море нагишом, потом ложились на песок обсыхать — развлечение было рискованное, потому что в любую минуту мог появиться полицейский, обходивший дозором берег для проверки, не добывает ли кто соль из морской воды, уклоняясь тем самым от солевого налога. По счастью, мы ни разу не попались.

Но подошло время подумать всерьез о моей диссертации, которую я должен был к августу закончить, поэтому мы обосновались в Фернхерсте, и я впервые узнал на собственном опыте, что такое серьезная творческая работа. Полосы надежды сменялись полосами отчаяния, зато, завершив наконец диссертацию, я нимало не сомневался, что раз и навсегда покончил со всеми философскими вопросами, лежавшими в основаниях геометрии. Я не знал еще тогда, что в творческой работе и подъем духа, и его упадок одинаково обманчивы и что работа никогда не бывает ни так плоха, как кажется в плохие дни, ни так хороша, как кажется в хорошие. Диссертацию прочли Уайтхед и Джеймс Уорд, поскольку она касалась и математики и философии. До того как был объявлен окончательный результат, Уайтхед разгромил ее в пух и прах, причем совершенно справедливо, и я решил, что работа никуда не годится и можно не дожидаться официального результата, но все же сходил к Уорду просто из вежливости. У него сложилось противоположное мнение, и он расхвалил меня до небес. А на следующий день я узнал, что избран членом совета колледжа, и Уайтхед со смехом объяснил мне, что хотел воспользоваться последним случаем серьезно покритиковать мою работу, ибо другого такого больше никому не представится.

Моим первым супружеством начался период большого счастья и плодотворной работы. Душевные потрясения остались позади, и всю свою энергию я направил в интеллектуальное русло. Я много читал по математике и философии; писал кое-что свое и заложил основу для последующей работы; ездил за границу; но большую часть свободного времени отдавал серьезному чтению, главным образом историческому. После обеда мы с женой завели обыкновение читать по очереди вслух и таким образом осилили несколько многотомных классических трудов по истории. Кажется, последнее, что мы прочли таким способом, была "История города Рима" Грегоровиуса. В интеллектуальном отношении то было самое плодотворное время жизни, и я бесконечно благодарен моей первой жене за помощь. Поначалу ее испугало мое намерение тихо жить в деревне, но из-за работы я не мог от этого отказаться. Для счастья мне хватало ее общества и работы, больше ничего не требовалось. Правда, на деле мы, как правило, проводили в деревне не более полугода. Но и тогда она нередко отлучалась: произносила речи в поддержку избирательного права женщин или во славу трезвенности. Чтобы угодить ей, я зарекся пить спиртное, но по привычке оставался трезвенником и потом, когда первоначальное побуждение отпало. Я не употреблял алкоголь до первой мировой войны, когда король дал соответствующий обет. Он дал его, чтобы легче было убивать немцев, и потому между пацифизмом и потреблением спиртного я усматривал определенную связь.

Осенью 1895 года, когда прошли выборы в совет колледжа, мы вернулись в Германию, чтобы лучше познакомиться с немецкой социал-демократией. В тот приезд мы виделись только с социалистами. Познакомились с Бебелем и Либкнехтом-старшим. Либкнехт-младший (тот, кого убили сразу после войны) в ту пору был еще ребенком. Скорее всего, мы видели и его, когда обедали у его отца, но мне он не запомнился. Тогда социал-демократы были пламенными революционерами, и я по молодости лет еще не догадывался, как они преобразятся, когда придут к власти. В начале 1896 года я читал лекции о них в Лондонской школе экономики, помещавшейся тогда в Адельфи, на Джон-стрит. Полагаю, что был первым лектором, посвятившим им курс. В ту пору я и познакомился с У. А. Хьюинзом¹, под чьим серьезным влиянием находился в течение пяти лет. Питомец католической семьи, он заменил церковь Британской империей.

В ту пору я был не в пример более нервозен, чем впоследствии. Поскольку я преподавал в Школе экономики, мы поселились на Эшли-гарденс, 90, но я не мог там заниматься из-за грохота лифта и ежедневно ходил к родителям Элис на Гроувнор-роуд читать Георга Кантора², которого тщательно штудировал. Тогда я ошибочно полагал, что все его доказательства неверны, но тем не менее разобрал по косточкам и аккуратно законспектировал. Это сослужило мне хорошую службу, когда впоследствии я обнаружил, что ошибался не он, а я.

Когда пришла весна, мы купили в Фернхерсте маленький коттедж для рабочих, называвшийся "Ветряк", и пристроили довольно просторную гостиную и две спальни. Там прошло много чудеснейших часов мо-

1. Уильям Альберт Хьюинз (1865–1931) — английский экономист.

2. Георг Кантор (1845–1918) — немецкий математик; разработал основы теории множеств.

ей жизни: я приобрел основательные знания в интересовавших меня областях, а мои исследования специалисты оценили выше, чем я надеялся. В студенческие годы я не знал, что у меня такие хорошие способности, как оказалось потом. Помню, что мечтал как о недостижимом счастье, что когда-нибудь напишу такую работу, как Мактаггарт¹. В те первые годы нашей с Элис совместной жизни Уайтхед мало-помалу превратился из учителя в друга. В 1890 году на первом курсе я слушал у него курс статистики. Как-то раз он попросил студентов найти в учебнике 35-й параграф, а ко мне повернулся и сказал: "Вам не надо, вы это уже знаете", — в самом деле, десятью месяцами раньше я не только процитировал этот параграф на экзамене, но даже указал его номер — он это помнил, чем навсегда покорило мое сердце.

В Англии Уайтхеда считали математиком, честь открыть его как философа выпала Америке. На многие философские вопросы мы с ним смотрели по-разному, что положило конец нашему сотрудничеству, и когда он перебрался в Америку, я, понятно, стал видеться с ним гораздо реже. Расхождения появились во время первой мировой войны, когда он совершенно не принял моего пацифизма. Надо сказать, что в наших спорах по поводу пацифизма он проявлял больше терпимости, чем я, и в том, что эти разногласия привели к охлаждению, я виноват не в пример больше него.

В самом конце войны погиб его младший сын, восемнадцатилетний юноша. То был чудовищный удар для Уайтхеда, лишь благодаря неимоверному напряжению воли он смог продолжить работу. И то, что его мысли обратились к философии и он стал искать пути преодоления чисто механистического образа Вселенной, прямо связано с пережитой им трагедией. В его философии было много непроященного, много такого, чего я так и не сумел понять. Он всегда склонялся к Канту, которого я не любил, а когда стал развивать собственную философскую систему, выявилось, что находится под влиянием Бергсона. Его волновала идея единства Вселенной, он полагал, что оправданны только научные выводы, те, которые подтверждают это единство. Меня же темперамент увлекал в другую сторону, но вряд ли можно решить с помощью чистого разума, кто из нас ближе подошел к истине. Те, кому по душе его мировоззрение, вправе сказать, что он старался утешить простых людей, тогда как я старался разозлить философов; те, что согласны с моим взглядом на мир, могут возразить, что, пока он ублажал философов, я веселил простых людей. Как бы то ни было, каждый из нас пошел своим путем, но взаимная привязанность никогда не умирала.

Уайтхед отличался необычайной широтой интересов, а его исторические познания всегда вызывали у меня изумление. Как-то я случайно обнаружил, что такая в высшей степени серьезная и своеобразная книга, как "История Тридентского собора" Паоло Сарпи, служит ему чтением на сон грядущий. О каких бы исторических событиях ни заходила речь, он всегда мог добавить нечто неожиданное, наполнившее их особым смыслом, вроде того, что политические взгляды Бэрка определялись его деловыми интересами в Сити или что между гуситской ересью и божескими серебряными рудниками историки усматривают опреде-

1. Джон Элис Мактаггарт (1866—1925) — английский философ, представитель персонализма; преподавал в Кембридже.

ленную связь. Он был наделен пленительным юмором и величайшей мягкостью. В мои университетские годы студенты называли его Херувимом; возможно, тем, кто знал его позже, это прозвище показалось бы дерзким и неуместным, но в ту пору оно ему очень подходило. Его предки священствовали в Кенте, наверное, с тех самых пор, как там высадился святой Августин¹. Уайтхед любил вспоминать в качестве шутки, как мой дедушка, весьма страшившийся распространения в стране католицизма, заклинал его сестру никогда не отходить от англиканской церкви — в силу своей полной неправдоподобности, это опасение безумно смешило рассказчика. Богословие Уайтхеда не совпадало с ортодоксией, но что-то специфическое, сформировавшееся в детстве в доме деревенского священника, ощущалось в самом способе его мироощущения, и это же давало себя знать в его позднейших философских работах.

Он был очень скромнен — признание, что он старается превратить свои недостатки в достоинства, означало для него крайнюю степень бахвальства. Он охотно выставлял себя в смешном свете. В Кембридже жили две сестры — жеманные пожилые дамы, будто сошедшие со страниц “Кренфорда”², а на самом деле прогрессистки самого крайнего толка: какие бы реформы ни проводились, они всегда оказывались на переднем крае. Уайтхед не раз вспоминал, причем не без грусти, что поначалу, введенный в заблуждение их внешним видом, решил слегка их напугать — просто так, шутки ради, и сказал что-то не слишком радикальное, но все же. “Ах, мистер Уайтхед, как приятно слышать это от вас!” — обрадовались старушки, подчеркнув тем самым, что считали его stolпом реакции.

Он обладал поистине невероятной способностью к концентрации. Как-то в жаркий летний день в Гранчестер, где мы вместе тогда жили, приехал наш общий друг Крамтон Дэвис, и я повел его в сад поздороваться с хозяином. Уайтхед сидел и писал что-то математическое. Мы с Дэвисом долго стояли и смотрели, как он испещряет символами одну страницу за другой. Он нас не видел, хотя сидел на расстоянии какого-нибудь ярда, и в конце концов мы удалились с чувством священного трепета.

Близко его знавшим постепенно становилось известно о нем много такого, что не проявлялось в более поверхностном общении. Посторонним он казался добродушным, рациональным и невозмутимым, но на самом деле вовсе не был невозмутимым и уж тем менее — бесчеловечным, иначе говоря, монстром, называемым “рациональным человеком”. Глубоко и страстно любил он свою жену и детей; всегда остро сознавал насущную необходимость религии; в молодости под влиянием кардинала Ньюмена чуть было не перешел в католичество; впоследствии отчасти обрел в философии то, чего искал в религии. Как все, кто живет очень планомерно и размеренно, он имел склонность к мучительным внутренним монологам и, когда ему казалось, что его никто не слышит, распекал себя шепотом на все корки за то, что считал своими слабостями. Первые годы супружества были омрачены денежными затруднениями, страшно его тяготившими, но не отвратившими от работы — важной, а не денежной.

1. Св. Августин Кентерберийский — аббат монастыря Св. Григория в Риме; в 596 г. был отправлен папой Григорием Великим в Англию для распространения христианства, положил начало английской христианской церкви.

2. “Кренфорд” — проникнутый юмором роман Элизабет Гаскелл (1810–1865) о маленьком захолустном городке со старомодным, простодушным укладом.

Присущие ему деловые качества не находили особого применения в ту пору, когда я лучше всего знал его. Он обладал поистине удивительной проницательностью, позволявшей ему легко добиваться своего на заседаниях всяческих комитетов, что приводило в изумление тех, кто считал его человеком непрактичным, витавшим в эмпиреях. Из него мог бы получиться отличный администратор, если бы не один фатальный недостаток: его полная неспособность отвечать на письма. Как-то я послал ему письмо с математическим вопросом — ответ требовался незамедлительно для критической статьи о Пуанкаре, которую я тогда писал. Не получив ответа, я написал снова. Ответа не последовало. Тогда я отправил телеграмму. Он по-прежнему хранил молчание, и я послал вторую телеграмму, на сей раз с оплаченным ответом. В конце концов пришлось поехать к нему в Бродстайерз. Его друзья, уже знавшие эту его странность, в тех редких случаях, когда кто-нибудь из них получал от него письмо, собирались вместе и поздравляли счастливец. В свое оправдание он говорил, что, если станет отвечать на письма, не будет успевать писать свое. Этот довод представляется мне исчерпывающим и не подлежащим обсуждению.

Учителем он был совершенно замечательным: проникался личным интересом к каждому ученику, понимал и сильные, и слабые его стороны, умел извлечь лучшее, на что тот был способен. Никогда не прибегал к наказаниям, не позволял себе сарказма, не демонстрировал превосходства — не делал ничего такого, чем не преминул бы воспользоваться преподаватель более посредственный. Думаю, что у способной молодежи, попадавшей к нему в руки, он неизменно вызывал искреннюю и преданную любовь, как это было со мной.

Уайтхед с женой часто гостили у нас в деревне, а мы у них в Кембридже. Как-то раз мы остановились у тогдашнего главы колледжа Монтею Батлера и спали в его доме на кровати королевы Анны — к счастью, всего однажды.

В 1896 году мои лекции о немецком социализме вышли в виде книги — первой моей книги. Но это не вызвало у меня воодушевления, так как я решил посвятить себя философии математики. Я переработал свою диссертацию и отдал в университетское издательство, где ее приняли к печати и выпустили в 1897-м под названием "Очерк оснований геометрии". Впоследствии я пришел к мысли, что в этой книге слишком много кантианства, но то обстоятельство, что моя первая философская работа не содержала в себе вызова дежурной ортодоксии, пошло на пользу моей репутации. В те дни в научных кругах считалось, что все критики Канта просто не доросли до понимания его идей, и чтобы опровергнуть подобную предубежденность, было полезно однажды с ним согласиться. Книга моя получила очень высокую оценку — на самом деле много более высокую, чем того заслуживала. С тех пор о каждой следующей моей книге рецензенты неизменно говорили, что она свидетельствует об упадке автора.

Осенью 1896 года мы с Элис отправились на три месяца в Америку, главным образом для того, чтобы представить меня ее родственникам. Первым делом мы побывали в доме Уолта Уитмена в Камдене, в Нью-Джерси. Оттуда мы поехали в маленький фабричный городок Миллвил, где двоюродный брат Элис, Бонд Томас, служил управляющим на стекольном заводе, давнишнем семейном предприятии. Жена Бонда Эдит

близко дружила с Элис. Согласно переписи, этот городок насчитывал 10002 жителя, но Томасы уверяли, что на самом деле жителей всего двое — они сами. Он был простая душа, а у жены имелись литературные амбиции. Она писала плохие пьесы в духе Скриба и думала, что, если бы ей удалось вырваться из Миллвила и свести знакомство с литературными знаменитостями Европы, ее талант получил бы признание. Он был рабски ей предан, а она крутила романы с мужчинами, которые казались ей более тонкими натурами, чем муж. В ту пору вокруг Миллвила расстилались девственные леса, и она любила возить меня в своей пролетке на дальние прогулки по раскисшим проселочным дорогам. Она не расставалась с револьвером, объясняя это тем, что никогда не знаешь заранее, когда он понадобится. Дальнейшие события навели меня на мысль, что все дело было в ее знакомстве с “Теддой Габлер”. Когда два года спустя она с мужем гостила в нашем палаццо в Венеции, мы познакомили ее с разными писателями, и тут оказалось, что все ее творения, отнявшие столько сил и десять лет жизни, никуда не годятся. В Америку она вернулась совершенно сломленной, и следующее полученное нами известие было, что она покончила с собой: положив на грудь любовные письма мужа, выстрелила через них в сердце. Спустя какое-то время он снова женился на женщине, которая, как говорили, была вторая Эдит.

Дальше мы поехали в Брин-Мор, погостить у президента колледжа Кэри Томас, сестры Бонда Томаса. Вся семья преклонялась перед ней. Она отличалась невероятной энергией и верой в культуру, сочетая это с мужской деловитостью и безграничным презрением к сильному полу. Я познакомился с ней во Фрайдейз-хилле, перед самым ее приездом Логен сказал: “Приготовься встретиться с нашей Возлюбленной Кэри”, что отражало отношение к ней всей их семьи. Я же совершенно не способен был воспринимать ее серьезно, уж очень легко она приходила в удивление. Она твердо придерживалась той непогрешимой точки зрения, что для того, чтобы написать научную работу, нужно сначала изучить всю соответствующую литературу, поэтому я торжественно заверил ее, что все главное в неевклидовой геометрии придумал до чтения литературы и, более того, именно благодаря незнанию таковой. С тех пор она всегда считала, что я просто *farceur*¹. Всевозможные происшествия в дальнейшем лишь подтвердили справедливость моего мнения о ней. Например, как-то раз в Париже мы повели ее на “Орленка”, и по ее репликам я понял, что она понятия не имеет о французской революции 1830 года. Я кратко пересказал ей историю Франции, а два-три дня спустя она попросила порекомендовать учебник по истории Франции, за которым по ее поручению ее секретарша отправлялась в магазин. Но в Брин-Мор Кэри играла роль Зевса Громовержца, и там все ее трепетали. Она жила со своей подругой мисс Гуинн, составлявшей почти полную ей противоположность. Мисс Гуинн, слабовольная, мягкая, ленивая, обладала хотя и небольшим, но подлинным литературным вкусом. Они дружили с ранней юности, вместе ездили в Германию, чтобы получить научную степень, что, впрочем, удалось только Кэри. Но в то время, когда мы гостили у них, их дружба уже несколько поизносилась. Мисс Гуинн проводила два уик-энда в месяц со своей семьей, и ровно в день ее отъезда обычно появлялась другая дама, по имени мисс Гаррет,

1. Шутник, балагур (франц.).

удалявшаяся непосредственно перед возвращением мисс Гуинн. Пока мы там гостили, мисс Гуинн влюбилась в на редкость блестящего молодого человека по имени Ходдер, преподавателя Брин-Мор. Это привело Кэри в ярость, и каждый вечер, не давая нам уснуть, она раздраженным голосом часами напролет песочила мисс Гуинн. У Ходдера были жена и ребенок и, как говорили, многочисленные интрижки со студентками колледжа. Что все же не помешало мисс Гуинн в конце концов женить его на себе. Она добилась, чтобы их венчал высокоцерковник, желая показать, что оставшаяся в Брин-Мор жена — незаконная, ведь служитель Высокой церкви никогда бы не согласился венчать разведенного. Правда, Ходдер развонил повсюду, что развелся, но поведение мисс Гуинн призвано было отрицать это. Измотанный беспутной жизнью, он скончался вскоре после свадьбы. Ум у него был поистине блестящий, и рассуждал он — если рядом не оказывалось женщин — замечательно интересно.

В Брин-Мор я читал лекции по неевклидовой геометрии, а Элис проносила с трибуны речи о даре материнства, дополняя их частными беседами с женщинами на тему свободной любви. Из-за этого разразился скандал, и нас буквально выдворили из колледжа. Мы перебрались в Балтимор, где я продолжал читать те же лекции в университете Джонса Хопкинса. Остановились мы у доктора Томаса, отца Кэри. Любопытные люди были эти Томасы! Один из сыновей, добившийся больших успехов в хирургии мозга, работал в клинике при “Джонсе Хопкинсе”; дочь Элен, имевшая несчастье быть глухой, — в Брин-Мор. Ласковая, добрая, с дивными рыжими волосами — я несколько лет был влюблен в нее, в 1900 году это чувство дошло до апогея. Разда два я просил ее поцеловать меня, но она не соглашалась. В конце концов она вышла замуж за Саймона Флекснера, директора Рокфеллеровского института медицинской профилактики. Мы оставались добрыми друзьями, хотя под конец ее жизни виделись редко. У доктора Томаса была еще одна дочь — благочестивая и правоверная квакерша, неизменно именовавшая всех неквакеров “люди мира сего”. Члены семьи постоянно употребляли церковные обороты и обращались ко всем на “ты”, так же разговаривали друг с другом и мы с Элис. Иные из квакерских доктрин показались бы диковинными стороннему человеку. Помню, как моя теща объясняла, что в силу своего воспитания считает “Отче наш” “подставной” молитвой. В первую минуту от подобного замечания нельзя было не обомлеть, но она объясняла, что “подставным” называется все, что исходит от неквакеров, в отличие от квакеров, а значит, таковы любые готовые формулы, ибо молитвы должны вдохновляться Святым Духом, и, следовательно, “Отче наш”, будучи готовой формулой, — молитва “подставная”. Как-то в другой раз она уведомила всех обедавших, что в силу все того же данного ей воспитания не почитает Десять заповедей, ибо они тоже “подставные”. Не знаю, остались ли еще квакеры, которые столь истово веруют в водительство Святого Духа, что не чтут Десять заповедей, — я таких в последнее время не встречал. Конечно, не стоит думать, что добродетельные последователи этой секты только и делают, что нарушают заповеди. — Святой Дух призрит на своих верных, но за пределами квакерских общин такие доктрины могут иметь не столь безобидные последствия. Помнится, как, описывая в своей брошюре всяческие известные ей отклонения от нормы, моя теща озаглавила один из разде-

лов, по прочтении которого становилось ясно, что речь идет о прелюбодеянии, — “Божественное водительство”.

Я обнаружил, что семьи коренных филаделфийских квакеров наделены теми же чертами, что и выродившаяся провинциальная аристократия. Дряхлые скряги под девяносто сидели на своих кубышках, как собаки на сене, а их шестидесятилетние и семидесятилетние отпрыски со всем возможным терпением дожидались их смерти. Разнообразные психические расстройства скорее были нормой, чем исключением из правила. Те, что числились в здоровых, нередко отличались чрезвычайным скудоумием. В Филадельфии жила тетка Элис, сестра отца, очень богатая и придурковатая старая дева. Она весьма расположилась ко мне, но почему-то у нее зародилось смутное подозрение, что я не *по-настоящему* верю в то, что мы спасемся кровью Господа нашего Иисуса Христа. Не знаю, откуда взялась эта фантазия, — я, со своей стороны, не говорил ничего, что могло бы заронить в нее эту мысль. В День Благодарения мы пришли к ней на обед. Невероятно прожорливая старуха закатала пиршество, рассчитанное на раблезианские желудки, но едва мы прикоснулись к столовым приборам, сказала: “Остановимся на минутку и вспомним бедных”, — надо полагать, для нее это было все равно что острая, возбуждавшая аппетит закуска. Два ее племянника, жившие по соседству и ежевечерне являвшиеся к ней на поклон, полагали несправедливым, чтобы племяннику и племянницам, живущим в Европе, досталась после ее смерти такая же доля наследства, как им. Она же любила прихвастнуть своими европейскими родственниками и давала понять, что уважает их больше, чем тех, кого можно постоянно изводить. Короче говоря, “европейцы” ничего не потеряли оттого, что находились далеко.

В ту пору Америка была страной редкостного простодушия. Куча народу просила меня объяснить, за что посадили Оскара Уайльда. В Бостоне мы остановились в пансионе, который держали две пожилые квакерши, и за завтраком одна из хозяек громко, через весь стол, обратилась ко мне: “Последнее время что-то совсем не видно Оскара Уайльда, скажите, что он подделывает?” — “Сидит в тюрьме”, — ответил я, радуясь, что она спрашивает, что подделывает, а не что сделал. В те дни я смотрел на Америку с самодовольным превосходством островного британца. Однако, пообщавшись с американскими учеными, особенно с математиками, не мог не осознать, как сильно повлияла на них Германия, опередившая Англию почти по всем научным направлениям. Чем дольше я путешествовал, тем поневоле становилась меньше моя уверенность в том, что все достойное знания исходит из Кембриджа, и в этом смысле поездки принесли мне большую пользу.

О 1897 году я помню очень мало — главным образом, что тогда вышли из печати мои “Основания геометрии”. Помню также, как меня обрадовало восторженное письмо по поводу моей книги от Луи Кутюра¹, с которым я в ту пору не был знаком, но чью работу “Математическая бесконечность” рецензировал. Я мечтал, что буду получать хвалебные письма от неизвестных мне иностранцев, и письмо Кутюра было первым в таком роде. Он описывал, как продирался через мою книгу “*armé d'un dictionnaire*”², потому что не знал английского языка. Вскоре я поехал в

1. Луи Кутюра (1868–1914) — французский философ; известен трудами в области теории познания и логики, один из основателей современной математической логики.

2. Вооружившись словарем (*франц.*).

Канн, где он профессорствовал. Он не ожидал, что я так молод, но это не мешало нам сблизиться и дружить до самой его смерти, последовавшей в 1914 году: он погиб под колесами грузовика во время всеобщей мобилизации. В последние годы его жизни мы почти не виделись, потому что он с головой ушел в разработку международного языка *идо*, которому отдавал предпочтение перед эсперанто. Он рассказывал, что за всю человеческую историю никто не подвергался таким гонениям, как эсперантисты, но от слова “эсперанто” хотя бы можно образовать производное — “эсперантист”, а от “идо”, сокрушался он, даже имени носителя нельзя образовать. Я тут же нашелся, предложив ему “идиот”, но почему-то это ему не очень понравилось. Вспоминается, как в жуткую июльскую жару 1900 года мы сидели за ланчем в Париже. Миссис Уайтхед, у которой было слабое сердце, упала в обморок, и пока Кутюра ходил за *sal volatile*¹, кто-то открыл окно. Вернувшись, он решительно затворил его, приговаривая: “*De l’air, oui, mais pas de courant d’air*”². Вспоминается также, как в 1905 году в Париже он пришел ко мне в гостиницу повидаться, и мистер Дэвис и его дочь Маргарет — отец и сестра Крамтона и Теодора Дэвисов — сидели и слушали его. А он говорил, говорил без умолку минут тридцать и вдруг подвел итог: “Тот, кто по-настоящему умен, держит язык за зубами”, и тут мистер Дэвис, несмотря на свои восемьдесят лет, бросился вон из номера, но все равно слышно было, как он хохочет в коридоре. Какое-то время Кутюра был страстным приверженцем моих идей в области математической логики, но ему не доставало осмотрительности в спорах, и во время моего долгого противоборства с Пуанкаре мне порой приходилось туго: защищать нужно было не только себя, но и Кутюра. Лучшая его работа посвящена логике Лейбница. Поскольку Лейбниц хотел слыть человеком с достатком, печатающимся не для заработка, он публиковал лишь второразрядные свои сочинения, и все главные его труды остались в рукописях. Впоследствии публикаторы печатали только то, что им казалось ценным, и, таким образом, основные его сочинения пребывали в неизвестности. Первым их откопал Кутюра. Понятное дело, меня это очень обрадовало, потому что тем самым я получил документальное подтверждение правильности той интерпретации Лейбница, которая содержалась в моей книге о нем и которая без работы Кутюра осталась бы бездоказательной. В первый же день, когда мы познакомились, он объявил мне, что не занимается “*le sport*”. И когда я чуть позже спросил его, ездит ли он на велосипеде, он сказал: “Да нет же, я же сказал, что не занимаюсь спортом”. Мы переписывались много лет — письма, которые я посылал ему в начале англо-бурской войны, были проникнуты империалистическим духом, о чем я теперь весьма сожалею.

С 1898 по 1902 год мы с Элис обычно проводили часть года в Кембридже. В ту пору я начал понемногу выбираться из пучины немецкого идеализма, куда погрузился из-за Мактаггарта и Стаута. Мне очень помог в этом Мур³, с которым мы тогда много общались. Какое это было наслаждение после нескольких лет неверия в реальность чувственного мира вновь поверить, что столы и стулья и впрямь существуют! Причем

1. Нюхательная соль (франц.).

2. Свежий воздух — это конечно, но не сквозняк (франц.).

3. Джордж Эдвард Мур (1873—1958) — английский философ, зачинатель неореалистического направления в философии.

главный интерес для меня представляла логическая сторона дела. Приятно было думать, что отношения реальны, и хотелось выяснить, грозит ли катастрофой метафизике допущение, что все суждения имеют субъектно-предикатную форму. Лейбница я стал читать случайно: в колледже объявили курс по нему, а Мактагарт собрался ехать в Новую Зеландию, и меня попросили прочесть этот курс вместо него. Изучив Лейбница и его критиков, я смог проиллюстрировать свой подход к логике, к которому пришел главным образом благодаря Муру.

Мы с Элис две осени подряд ездили в Венецию, с тех пор я знаю там чуть ли не каждый камень. Со дня моей свадьбы и до начала первой мировой войны, пожалуй, не проходило года, чтобы я не побывал в Италии. Я исходил ее пешком, объездил на велосипеде, как-то раз плавал у ее берегов на трамповом судне, заходившем в каждый порт между Венецией и Генуей. Особенно по душе мне были маленькие, труднодоступные городки и горные виды в Апеннинах. Но разразилась первая мировая война, и так случилось, что я вернулся в Италию лишь в 1949 году. В 1922 году я собирался туда на конгресс, но Муссолини, тогда еще не совершивший свой *coup d'état*¹, послал предупреждение организаторам, что хотя, пока я буду в Италии, с моей головы не упадет ни волоса, всех итальянцев, замеченных в общении со мной, предадут смерти. Я не желал оставлять за собой кровавый след и перестал ездить в оскверненную им страну, как ни любил ее.

Летом 1899 года я последний раз виделся с Салли Фэрчайлд. Следующая наша встреча состоялась лишь в 1940-м, когда мы уже состарились и только и могли что гадать, отчего в былые времена так нравились друг другу. Обедневшая аристократка из Бостона, с которой я познакомился в 1896 году во время своего визита в этот город, она не была писаной красавицей с безупречными чертами лица, но ни у кого больше я не встречал такой грации и легкости движений. Путь ее был буквально устан сердцами поклонников. Она часто повторяла, что легче легкого догадаться, к чему клонит англичанин, если говорит: “Родитель, конечно, у меня того, но я считаю, вы сговоритесь”, — это он делает предложение. Второй раз я встретил ее в Рашморе, в загородном доме у моего дяди, генерала Питт-Риверса, где она гостила с матерью. За исключением самого генерала, все остальные члены семьи — кто больше, кто меньше — страдали помрачением рассудка. Миссис Питт-Риверс, урожденная Стэнли, превратилась в патологическую скопидомку: если кто-нибудь из гостей не доедал яичницу с беконом, она норовила переложить объедки обратно на блюдо. Ее старший сын, гвардеец, лощеный и благовоспитанный, неизменно опаздывал к завтраку и, появившись, звонил в колокольчик, чтобы ему подали горячее. Тетка, слыша, как он отдает распоряжения дворецкому, начинала кричать, что ничего не надо приносить, после гостей и так осталось много недоеденного. Дворецкий даже бровью не вел в ее сторону и спокойно выполнял приказы гвардейца. В семье был еще один сын, художник — “безумный и порочный, но веселый”². Третьему, славному, но никчемному малому, посчастливилось жениться на портнихе Элспет Фелпс и тем самым избежать нищеты. Но самой интересной фигурой в семье был Сент-Джордж, один из первых

1. Государственный переворот (*франц.*).

2. Цитата из поэмы Роберта Браунинга (1812–1889) “Смерть в пустыне”.

изобретателей электричества, бросивший свои опыты ради эзотерического буддизма и отправившийся в Тибет общаться с махатмами. По возвращении он узнал, что Эдисон и Сванн уже используют электрическое освещение, счел это нарушением своего патентного права и затеял целую серию бесконечных тяжб, которые постоянно проигрывал, так что в конце концов остался банкротом, в чем увидел лишнее подтверждение справедливости буддистской истины, что нужно освобождаться от земных желаний. Моя бабушка Стэнли обычно заставляла его играть с ней в вист и, когда наступала его очередь сдавать карты, всегда приговаривала: “Очень хорошо, что тебе сейчас сдавать, — немного согрешишь, уж очень ты праведный”. Праведность и деловая сметка были в нем сбалансированы в идеальной пропорции. Сент-Джордж влюбился в Салли Фэрчайлд и пригласил ее с матерью в Рашмор. Еды там, как всегда, было в обрез, и однажды за завтраком Салли и художник даже вступили в единоборство: каждый тянул к себе последнюю тарелку рисового пудинга, — к сожалению, верх взял художник. В день отъезда Салли сказала, что едет таким-то поездом, но миссис Питт-Риверс настояла, чтобы по дороге на станцию она осмотрела знаменитые развалины и села на более поздний поезд. Салли попыталась искать защиты у Сент-Джорджа, и поначалу он даже обещал заступничество, но когда дошло до дела, сбился на проповедь о тщете человеческих желаний, что и решило судьбу его сватовства — она ему отказала (впоследствии он женился на леди Эдит Дуглас, сестре лорда Альфреда, но брак был расторгнут по причине его импотенции). Летом 1899 года Фанни долго жила во Фрайдейз-хилле, и в конце концов я очень к ней привязался. Тогда я не понимал, что влюблен, даже руку ей ни разу не поцеловал, но со временем осознал, как много она значила для меня. Помню, словно это было вчера, как мы долго гуляли светлыми летними сумерками, ничем не выдавая своих чувств, в соответствии со строгими моральными предписаниями того времени.

Осенью 1899 года разразилась англо-бурская война. В то время я был либералом-империалистом и поначалу бурам несколько не сочувствовал. Поражения Британии внушали мне немалую тревогу, я не мог ни о чем думать, кроме новостей с театра военных действий. Жили мы тогда в “Ветряке”, и днем я проделывал четыре мили пешком до станции за вчерашним выпуском вечерней газеты. Элис как американка довольно прохладно воспринимала происходящее и сердилась, что меня это так занимает. Когда буры стали проигрывать, мой интерес к войне поубавился, а в 1901 году я уже поддерживал буров.

В 1900 году вышла из печати моя книга “Философия Лейбница”, а в июле того же года я отправился в Париж, которым открылась новая глава моей жизни. <...>

Principia Mathematica

В июле 1900 года в Париже состоялся Международный философский конгресс, приуроченный к проходившей там Всемирной выставке. Мы с Уайтхедом решили поехать на конгресс, тем более что из оргкомитета я получил приглашение прочесть доклад. Из-за знаменитого математика Бореля наш приезд имел характер небольшой военной кампании. Кэри Томас попросила Элис привезти в Париж двенадцать пустых

чемоданов, которые она оставила в Англии, а Борель обратился к Уайтхеду с просьбой взять с собой его племянницу, работавшую в Англии учительницей. На Северном вокзале нас собралось довольно много, но багажную квитанцию нам выдали всего одну. Багаж племянницы прибыл очень быстро, наш — тотчас следом, затем появилось одиннадцать чемоданов Кэри, но двенадцатого, последнего, все не было и не было. Мы стояли и ждали, и тут Борель, потеряв всякое терпение, вырвал у меня из рук квитанцию и умчался с перрона, увлекши за собой племянницу с ее единственным баулом, а нас оставив на произвол судьбы: без квитанции мы не могли вынести ни наш багаж, ни чемоданы Кэри. Тогда мы с Уайтхедом подняли наши чемоданы, как тараны, и пробили ими цепь оторопевших контролеров, так что маневр удался.

Конгресс стал поворотной точкой в моей профессиональной жизни, потому что там состоялось мое знакомство с Пеано¹. Заочно, по работам я знал его и раньше, но не потрудился изучить предложенную им символику. Во время прений я обратил внимание на точность аргументации, выгодно отличавшую его от других выступающих, он брал верх в любом споре, который затевал. По некотором размышлении я пришел к выводу, что дело, должно быть, в применяемом им логическом аппарате. Поэтому я попросил у него все его статьи и после конгресса уединился в Фернхерсте, чтобы спокойно вникнуть в каждое слово, написанное им и его учениками. Вскоре стало совершенно ясно, что его символика и есть тот самый инструмент, который я искал в течение многих лет и благодаря которому получал в свое распоряжение новый замечательный аппарат и мог взяться за логическое исследование, о котором давно мечтал. К концу августа я уже досконально изучил все работы его школы. Сентябрь был посвящен применению его методов к логике отношений — теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что весь тот месяц стояла мягкая, солнечная погода. В Фернхерсте с нами тогда жили Уайтхед и его жена, и я ежедневно делился с ним моими новыми идеями. Каждый вечер обсуждение упиралось в повое, неожиданное препятствие, и каждое утро выяснялось, что вчерашнее препятствие само собой разрешилось во сне. То было время настоящего интеллектуального опьянения. Нечто похожее испытывает альпинист, когда взбирается по склону в густом тумане, а на вершине туман внезапно рассеивается, и все становится видно на сорок миль вокруг. Годами я пытался проанализировать понятия, лежащие в основании математики, такие, как порядок и кардинальные числа. И вдруг за какие-нибудь несколько недель я, как казалось, нашел ясные ответы на вопросы, мучившие меня долгие годы. Причем в процессе поиска этих ответов я вводил новую математическую технику, позволявшую отвоевать у философской расплывчатости целые области, придав им точность математической формулы. Сентябрь 1900 года был зенитом моей интеллектуальной жизни. Я говорил себе, что наконец-то сделал нечто стоящее; кстати сказать, у меня появился страх за себя: чувство, что нужно беречься и не попасть под колеса, пока я не дописал все до конца. Я послал статью с изложением своих идей Пеано, в его журнал. А в начале ноября принялся за “Основания математики”, к написанию которых приступал уже не раз, но неудачно. Третья, четвертая, пятая и шестая части были потом опубликованы в

1. Джузеппе Пеано (1858—1932) — итальянский математик; ввел в употребление простую математическую символику, получившую широкое распространение.

том виде, в каком вышли из-под моего пера осенью 1900 года. Я написал тогда также первую, вторую и седьмую части, но их потом пришлось переставлять, так что книга приобрела окончательный вид лишь в мае 1902 года. В ту пору, в течение октября, ноября и декабря, я писал по десять страниц ежедневно и завершил рукопись в последний день века, как раз чтобы успеть отправить хвастливое письмо Элен Томас о том, что сегодня дописал книгу в 200 000 слов.

Как ни странно, с концом века настал конец и моему чувству триумфа, и с той поры начались и уже никогда не прекращались периоды интеллектуальной и эмоциональной угнетенности, переходившей порой в черную тоску.

На весенний триместр 1901 года мы вместе с Уайтхедами сняли дом профессора Мейтланда в Даунинг-колледже, а сам профессор поехал на Мадейру поправлять расстроенное здоровье. Его экономка сообщила нам, что он “вконец высох, а все из-за сухарей — ничего, кроме них, в рот не брал”, но, полагаю, это не совсем точно отражало медицинскую суть дела. Миссис Уайтхед на глазах превращалась в хроническую больную, все учащавшиеся у нее сердечные приступы сопровождалась острой болью. Мы трое, Уайтхед, Элис и я, страшно беспокоились о ней, Уайтхед не только бесконечно любил ее, но и был совершенно не приспособлен к жизни: как мы понимали, он вряд ли смог бы серьезно работать, оставшись один. Как-то вечером в Ньюем приехал Гилберт Марри¹ почитать отрывки из своего тогда еще не опубликованного перевода “Ипполита”. Мы с Элис пошли его послушать, и меня очень взволновали прекрасные стихи. Возвратившись, мы застали миссис Уайтхед в страшных мучениях, в тот день у нее случился какой-то особенно сильный приступ. Казалось, она была отрезана от остального мира стеной боли, и вдруг на меня навалилась страшная тоска: я понял, как безысходно одинока каждая человеческая душа. Со времени женитьбы моя эмоциональная жизнь протекала ровно и гладко; довольствуясь поверхностной игрой ума, я забыл о существовании более важных предметов. Внезапно словно земля разверзлась под ногами, мысленно я перенесся в совсем иные сферы. За какие-нибудь пять минут я успел понять примерно следующее: человеческое одиночество невыносимо; ничто не может сквозь него прорваться, кроме любви того высочайшего накала, какую проповедуют религиозные учителя; все, что идет не от нее, либо приносит вред, либо, в лучшем случае, не помогает; значит, войны бесполезны; закрытые школы омерзительны; от применения силы надо отказаться; а отношения между людьми нужно строить так, чтобы проникнуть в самую сердцевину человеческого одиночества и воззвать к нему. В комнате был младший сын Уайтхедов, мальчик лет трех, на которого я никогда прежде не обращал внимания, как и он на меня. Нужно было увести его, чтобы он не теребил мать, и без того терзавшуюся болью. Я взял его за руку — он охотно повиновался, сразу успокоился, и мы ушли. С тех пор и до самой смерти, постигшей его в 1918 году на войне, мы оставались друзьями.

За пять минут я стал совсем другим человеком. Некоторое время потом я еще ощущал нечто вроде мистического озарения. Мною владело чувство, будто я знаю самые сокровенные мысли всех попадавшихся на пути прохожих, и хотя это, несомненно, было иллюзией, я и в самом де-

1. Гилберт Марри (1866—1957) — английский ученый-классик, известен своими переводами античных трагедий.

ле стал гораздо ближе ко всем моим друзьям и знакомым. Из империалиста я за пять минут превратился в пацифиста и сторонника буров. В течение многих лет я превыше всего ценил точность и аналитичность и вдруг вспылал полумистическим восторгом перед красотой, преисполнился сильнейшим интересом к детям и загорелся, подобно Будде, величайшим желанием создать философию, способную облегчить человеческую жизнь. Голова горела как в лихорадке, к страданиям примешивалась доля торжества — я ощущал, что могу, совладав с ними, превратить их, как я надеялся, во врата мудрости. Когда пережитое мной просветление — как я считал, мистической природы — почти совсем рассеялось, во мне заговорила застарелая привычка к аналитическому мышлению. И все же многое из того, что я тогда ощутил как откровение, осталось со мной навсегда: отношение к первой мировой войне, интерес к детям, равнодушие к мелким неприятностям, особая эмоциональная тональность, которой с тех пор окрашено мое общение с другими людьми, — все это оттуда.

В конце весеннего триместра мы с Элис вернулись в Фернхерст, и я засел за логическую дедукцию математики, которая потом превратилась в “Principia Mathematica”. Мне казалось, что работа уже близка к завершению, но в мае начался интеллектуальный спад, не менее мучительный, чем спад эмоциональный, пережитый мной в феврале. Как доказал Кантор, самого большого числа не существует, но мне казалось, что число всех предметов в мире должно быть самым большим из возможных. Я изучил канторовское доказательство с максимальной тщательностью и попробовал применить его к классу всех существующих предметов. Что заставило меня рассмотреть классы, которые не являются классами самих себя, и задаться вопросом, является ли класс таких классов членом самого себя. Я обнаружил, что в каждом из ответов содержится противоречие. Сначала мне показалось, что я легко смогу его разрешить и что скорее всего в рассуждении допущена элементарная ошибка. Но постепенно стало ясно, что все гораздо серьезнее. Такое противоречие уже обнаружил Бурали-Форти, открывший, что логический анализ сродни древнегреческому парадоксу Эпименида Критского: все критяне — лжецы. Парадокс, по существу подобный парадоксу Эпименида, можно воспроизвести, дав человеку лист бумаги, на одной стороне которого написано: “Утверждение на другой стороне этого листа ложно”. Перевернув его, человек читает: “Утверждение на другой стороне этого листа истинно”. Казалось бы, смешно взрослому человеку тратить время на такие забавы, но что оставалось делать? Что-то было неверно, коль скоро на основании обычных предпосылок нельзя избежать подобных противоречий. Тривиальная или нетривиальная, задача требовала решения. Примерно с июля и почти до конца 1901 года я надеялся, что решение будет найти легко, но перед Новым годом уже знал, что требуется огромная работа. Поэтому я решил дописать “Основания математики”, оставив эту задачу на потом. Осенью мы с Элис возвратились в Кембридж, где мне предстояло читать двухтриместровый курс математической логики. В этих лекциях содержался общий очерк “Principia Mathematica”, но никакого метода для разрешения противоречий не предлагалось.

Примерно в то время, когда я дочитывал эти лекции и мы вместе с Уайтхедами уже перебрались в гранчестерский Милл-хаус, накатила еще

худшая беда. Как-то днем я решил прокатиться на велосипеде; внезапно на проселочной дороге меня пронзила мысль, что я больше не люблю Элис. До этой минуты мне и в голову не приходило, что мое чувство к ней выдохлось. Такое открытие не могло не повлечь за собой самые серьезные последствия. Со времени нашей свадьбы у нас с Элис все было общее: мы спали в одной постели, имели общую гардеробную, рассказывали друг другу обо всем случившемся. Она была пятью годами старше, и я привык смотреть на нее как на человека более практичного и мудрого житейски и потому передоверил ей многие обыденные дела. Я знал, что она по-прежнему привязана ко мне, да и не хотелось быть жестоким, но в ту пору я придерживался мнения (скорее всего ложного, как показал последующий жизненный опыт), что настоящая близость не терпит лжи. Да и ясно было, что я не смогу сколько-нибудь долго притворяться, что люблю ее, как раньше, ибо исчез естественный позыв к физической близости, и одного этого было довольно, чтоб обнаружились мои подлинные чувства. Во время этого кризиса дало себя знать резонерство, унаследованное мною от отца: чтобы оправдаться в собственных глазах, я стал вспоминать все недостатки Элис. Я не сразу сказал ей, что разлюбил ее, но, конечно, она сама почувствовала неладное. Несколько месяцев она отсутствовала — уезжала лечиться тишиной и покоем, а когда вернулась, я начал с заявления, что хочу перебраться в отдельную комнату, а кончил признанием, что мое чувство к ней умерло, причем пытался, как и в разговорах с самим собой, списать все на ее характер.

Хотя задним числом я стыжусь этой неприглядной казуистики, предъявленный мной счет имел под собой определенные основания. Из-за того, что Элис пыталась жить святее и безгрешнее, чем это в силах человеческих, дело нередко доходило до фальши. Как и ее брат Логен, она не чужда была каверзости: ей нравилось сталкивать людей и заставлять их думать друг о друге гадости; действовала она бессознательно, но с инстинктивной тонкостью. Она умела так похвалить человека, что похвала была опасней брани, при этом не понимавшие, что к чему, слушатели восторгались ее великодушием. Злокозненность зачастую толкала ее на ложь. Так, она внушала миссис Уайтхед, что я не выношу детей и уайтхедовских малышей следует держать от меня подальше. А мне она говорила, что миссис Уайтхед — плохая мать и уделяет недостаточно внимания собственным детям. Пока я ехал по проселочной дороге, в памяти всплыла целая куча подобных эпизодов; я понял, что она далеко не святая, как мне всегда казалось. Однако я зашел слишком далеко в своем гневе и позабыл, как велики были ее достоинства.

Отчасти эта перемена чувств объяснялась тем, что я стал замечать в ней (хотя и в сглаженной форме) черты, которые отталкивали меня в ее матери и брате. Элис безмерно почитала свою мать, преклонялась перед ней и как перед воплощенной праведностью, и как перед кладезем мудрости. Надо сказать, что так к ней относились очень и очень многие, и в том числе Уильям Джеймс. Я же, напротив, постепенно пришел к убеждению, что не знаю никого хуже нее. Своего мужа, к которому она испытывала презрение, она безмерно унижала, никогда не говорила с ним или о нем иначе как с нескрываемым пренебрежением. Невозможно отрицать, что человек он был неумный, но такого отношения, как позволяла себе она, все же не заслуживал, да и никто, в ком была хоть капля милосердия, ничего подобного бы себе не разрешил. Он завел лю-

бовницу, но из лучших побуждений старался скрыть это от жены. Письма этой женщины он обычно рвал и бросал в корзину для бумаг. Но жена складывала обрывки и, давясь от смеха, зачитывала вслух Элис и Логену. После кончины старика она продала его вставную челюсть. Она отказалась выполнить его предсмертную просьбу — подарить от его имени пять фунтов садовнику. (Все мы сложились, чтобы собрать эту сумму, все, кроме нее.) То был единственный случай, когда Логен не мог не ужаснуться ее бессердечию, которое довело его до слез; впрочем, очень скоро он вернулся к своему обычному обожанию. Вот что она написала, когда ему было три с половиной месяца от роду:

У нас с Логеном сегодня состоялось первое настоящее сражение, из которого он вышел победителем, о чем, полагаю, не догадывается. Я отхлестала его так, что не осталось живого места, его уже и впрямь некуда было бить, и все же он не сдался. Тем не менее надеюсь, что это послужит ему уроком.

И послужило — ей больше не пришлось избивать его до крови. И ему, и остальным своим детям она внушила, что все мужчины — скоты и идиоты, а женщины — святые и ненавидят половую близость; немудрено, что Логен, как легко было предвидеть, стал гомосексуалистом. Ее феминизм дошел до таких степеней, что даже Бога ей было трудно почитать, — ведь Он был мужского рода. Проходя мимо паба, она неизменно восклицала: “Твои дела, о Господи!”, ибо, будь Создатель женщиной, на свете не появилась бы такая скверна, как спиртное.

Я еле сдерживался, когда Элис поддерживала мать. Как-то, помню, Фрайдейз-хилл собрались сдать внаем, и будущие жильцы прислали письмо, желая выяснить, производилась ли санинспекция канализационных труб. Все мы сидели за чаем, когда мать Элис заявила, что, хотя никакой санинспекции не было, она ответит, что была. Я возмутился, но Элис и Логен шикнули на меня, как на распумевшегося ребенка, который не понимает, с кем вступает в спор. Порой я пытался поговорить с Элис о матери, но разговора не получалось. Однако в конце концов ужас, который внушала мне эта особа, хоть и в малой степени, но все же передался ее почитателям, не исключая Элис.

Самые тяжелые дни в жизни я провел в Гранчестере.

Моя спальня выходила окнами на мельницу, и неумолчный шум воды сливался в единое целое с владевшим мной отчаянием. Долгими ночами я лежал без сна, вслушиваясь сначала в соловьиное пение, потом — в утренние птичьи хоры, а на рассвете смотрел в окно на восход солнца, пытаясь найти утешение в красоте мира. Я страдал от непереносимого чувства одиночества, того самого одиночества, в котором годом раньше распознал суть человеческого существования. Один бродил я по полям вокруг Гранчестера, и чудилось, что колеблющиеся под ветром ивы белыми изнанками листочков шлют мне привет из какого-то мирного края. Я читал религиозные сочинения, вроде “Святости смерти” Тейлора, в надежде отыскать там нечто такое, что дает их авторам поддержку, даруемую верой и не зависящую от религиозной догмы. Я пытался найти себе прибежище в чистом созерцании; начал писать “Вероисповедание свободного человека”, и лишь ритмический рисунок складывавшихся в строчки слов приносил заметное успокоение.

Во время написания “Principia Mathematica” наши с Уайтхедом отношения складывались трудно и напряженно. Со стороны Уайтхед выглядел спокойным, разумным, рассудительным, но, узнав его ближе, вы понимали, что это не более чем фасад. Как и у других невероятно сдержанных людей, его самообладание порой давало сбой, отнюдь не свидетельствовавшие о здоровье. Незадолго до встречи с миссис Уайтхед он уже было совсем собрался перейти в католичество, но в последнюю минуту удержался от этого шага из любви к будущей жене. Терзаемый страхом перед нищетой, он пытался побороть его самым неразумным способом: сорил деньгами направо и налево, чтобы убедить себя, что ему любые траты по карману. Пугая жену и слуг, бормотал проклятия по собственному адресу и осыпал себя ужасными упреками или порой молчал по нескольку дней кряду, ни единым словом ни на что не отзываясь. Миссис Уайтхед жила в постоянном страхе за его рассудок. Оглядываясь на прошлое, я полагаю, что опасность была не так велика, как ей представлялось в силу присущего ей мелодраматизма, и все же то была вполне реальная угроза, пусть и несколько преувеличенная. Она говорила со мной совершенно откровенно, и мне ничего не оставалось, кроме как объединить наши усилия ради того, чтобы спасти его разум. Все это не отражалось на его работе, но порою чувствовалось, что подобная выдержка превосходит человеческие силы и в любую минуту у него может произойти срыв. Миссис Уайтхед то и дело находила астрономические счета от кембриджских торговцев, но не решалась признаться мужу, что платить ей нечем, из страха, что это выведет его из равновесия. Обычно я старался наскрести необходимую сумму и тайно передать ей. Мне было отвратительно обманывать Уайтхеда — страшно подумать, какое бы он испытал унижение, дознайся он о происходящем. Но его семье необходимо было на что-то жить, необходимо было писать “Principia Mathematica”, и я не видел, как иначе достичь желаемого. Я жертвовал все, что получал со своего капитала, а порой и залезал в долги, но до 1952 года никому и словом не обмолвился об этом.

Между тем Элис чувствовала себя еще несчастнее меня, и ее несчастье лишь усугубляло мое собственное. Раньше мы подолгу жили с ее родственниками, но я обьявил, что больше не в состоянии выносить ее мать и что мы должны уехать из Фернхерста. Лето мы провели неподалеку от Бродвея в Вустершире. Страдания прибавили мне сентиментальности, я стал слагать в уме фразы вроде “Наши сердца превратились в урны с прахом разбитых надежд” и снизошел до чтения Метерлинка. Но прежде, несмотря на острый душевный кризис и ощущение полной безысходности, я закончил “Основания математики”. Это произошло 23 мая. Потом в Бродвее я занимался математической обработкой того, что впоследствии превратилось в “Principia Mathematica”. Я принял все меры, чтобы обеспечить участие Уайтхеда в этом этапе работы, но то неподлинное, неискреннее, сентиментальное состояние, в которое я позволил себе погрузиться, сказалось даже на моих математических занятиях. Помню, что послал Уайтхеду черновик первых нескольких страниц и в ответ получил следующий вердикт: “Все, даже предмет книги, принесено в жертву желанию сделать доказательства покороче и поаккуратнее”. Этот изъян книги — прямое следствие моего душевного изъяна.

В начале осени мы переехали на Чейн-уок, где сняли дом на полгода, и жизнь стала несколько более приемлемой. Мы общались со множест-

вом людей, среди которых попадались и остроумные, и милые, и начали понемногу вылезать из собственной скорлупы, но все это мало что меняло. Пока мы с Элис оставались в одном доме, она время от времени появлялась у меня в спальне в ночной рубашке и молила провести с ней ночь. Порой я соглашался, но лучше бы не делал этого. Так продолжалось девять лет — все эти годы она надеялась меня вернуть и ни разу не посмотрела на другого мужчину; все эти годы и у меня не было интимных отношений с другой женщиной. Раза два в год я пытался восстановить нашу супружескую близость в надежде утолить ее горе, но тщетно — Элис утратила для меня привлекательность. Сейчас, думая об этом времени, я понимаю, что нужно было уехать гораздо раньше — нельзя было нам так долго жить под одной крышей, но она не хотела разъезжаться и даже грозила самоубийством, если я ее оставлю. А так как у меня не было женщины, к которой я хотел бы уйти, то думалось: почему не пойти ей навстречу и не сделать как она просит?

Лето 1903 и 1904 годов мы провели в Чарте и Тилфорде. У меня вошло в привычку между одиннадцатью и часом ночи бродить по лугу, благодаря чему я научился различать три вида криков козодоя (большинству людей известен лишь один): я упорно искал, как разрешить логическое противоречие, о котором рассказывал выше. Каждое утро я садился за стол, где меня ждал чистый лист бумаги. Целый день, не считая небольшого перерыва на ланч, я сидел перед все тем же чистым листом. Наступал вечер, а лист нередко оставался чистым. Зимой, пока мы жили в Лондоне, я не пытался работать, но два лета 1903 и 1904 годов остались в памяти как время полного интеллектуального тупика. Было ясно, что двигаться дальше, не разрешив эти противоречия, нельзя, а я дал себе слово, что никакие трудности не помешают мне довести до конца "*Principia Mathematica*", и похоже было, что вся оставшаяся жизнь уйдет на созерцание чистого листа бумаги. Особенно раздражало то, что противоречия тривиальны и время уходит вроде бы на игру в бирюльки.

И все же не стоит думать, что я только и делал, что изнурял себя интеллектуально и предавался отчаянию. Помню, например, как в Тилфорде у нас с субботы по вторник гостил Мейнард Кейнс¹.

В 1905 году дела повернулись к лучшему. Мы с Элис решили поселиться под Оксфордом и построили дом в Бэгли-вуд (где никаких домов тогда еще не было). Весной 1905 года мы перебрались туда, и почти сразу после переезда я создал теорию дескрипций, которая стала первым шагом на пути преодоления трудностей, так долго меня мучивших. Вскоре после этого умер Теодор Дэвис, о чем я уже рассказывал раньше. В 1906 году я разработал теорию типов, после чего оставалось только одно — дописать книгу. Из-за преподавания Уайтхеду не хватало свободного времени, чтобы заниматься такой кропотливой механической работой, и я ежедневно отдавал ей по десять-двенадцать часов в течение восьми месяцев в году, начиная с 1907 и кончая 1910 годом. Рукопись все разрасталась и разрасталась, и стоило выйти на прогулку, как в душе всякий раз подымалась тревога: а вдруг начнется пожар и она сгорит! — ведь ее нельзя было перепечатать или хотя бы переписать. Когда мы наконец повезли ее в университетское издательство, она была такая ог-

1. Джон Мейнард Кейнс (1883—1946) — английский экономист, член "группы Блумсбери".

ромная, что пришлось нанять старую извозчицью карету. По подсчетам издателей, на этой книге им предстояло потерять шестьсот фунтов, а синдик¹ готовы были внести лишь триста и предупредили, что не считают возможным превысить эту цифру. Двести фунтов великодушно предоставило Королевское общество, а оставшиеся сто пришлось покрыть нам самим. Таким образом, за десять лет работы каждый из нас “заработал” по пятьдесят фунтов убытка. Это побивает даже рекорд “Потерянного рая”².

Душевное неблагополучие, изматывающая умственная работа, тянувшаяся с 1902 по 1910 год, — все это держало меня в страшном напряжении. В те годы я часто думал: неужели это когда-нибудь кончится и я доберусь до конца туннеля, в котором застрял? Всякий раз проходя по Кеннингтону, находившемуся неподалеку от Оксфорда, я останавливался на пешеходном мосту, смотрел на проходящие поезда и думал, что завтра брошусь под один из них. Но наступало завтра, а с ним просыпалась и надежда, что я когда-нибудь закончу “Principia Mathematica”. Более того, в работе скрывался своеобразный вызов, и не принять его, не выйти победителем было бы непростительным малодушием. Я не отступал и в один прекрасный день завершил работу, но мой истощенный ум так и не восстановился — не подлежит сомнению, что с тех пор я не мог оперировать сложными абстракциями с былой легкостью. Отчасти — но лишь отчасти — из-за этого я впоследствии переменял направление своей работы.

В те годы зиму я обычно посвящал политике. Когда Джозеф Чемберлен стал защитником протекционизма, я осознал себя ярым сторонником свободы торговли. Влияние Хьюинса, нацеливавшего меня на империализм и империалистический таможенный союз с Германией, испарилось в ту самую минуту, когда произошел мой душевный кризис и я стал пацифистом. Тем не менее в 1902 году я вступил в небольшой клуб под названием “Сподвижники”, организованный Сидни Уэббом с целью обсуждения политических вопросов с более или менее империалистической точки зрения. Именно там я впервые встретился с Гербертом Уэллсом, о котором до тех пор не имел ни малейшего понятия. Его позиция была мне ближе всех в этом собрании. По правде говоря, остальные шокировали меня до глубины души. Помню сверкающие, налитые кровью глаза Эймери во время обсуждения войны с Америкой, на которую “мы пошлем все взрослое мужское население страны”, захлебываясь от возбуждения, говорил он. Другой раз сэр Эдвард Грей³ (тогда еще не получивший министерского портфеля) произнес речь в защиту Антанты, не дожидаясь официального правительственного решения по этому вопросу. Я привел исчерпывающие доводы против подобной политики, указав, что она чревата войной, и когда никто из присутствовавших меня не поддержал, отказался от членства. Из чего ясно, что мой протест против первой мировой войны был заявлен на самой ранней стадии, какую только можно помыслить. Затем я принялся отстаивать свободную торговлю и Союз свободной торговли. У меня совершенно отсутствовал опыт выступлений перед широкой публикой, и вначале я

1. Синдик — член сената Кембриджского университета.

2. Джону Мильтону (1608–1674) за поэму “Потерянный рай” уплатили десять фунтов стерлингов.

3. Эдвард Грей (1862–1933) — английский государственный деятель.

так терялся и нервничал, что слова мои словно падали в вату, но со временем научился владеть собой. Когда прошли выборы 1906 года и протекционизм перестал быть самым жгучим политическим вопросом дня, я обратился к проблеме женского избирательного права. Как пацифист я недолюбливал крайних и всегда сотрудничал с партией конституционалистов. В 1907 году на дополнительных выборах я даже баллотировался в парламент, чтобы отстаивать там право голоса для женщин. Уимблдонская кампания протекала бурно и закончилась молниеносно. Молодому поколению сейчас трудно вообразить, какой бешеный афронт вызывала идея женского равноправия. Когда спустя несколько лет мне довелось вести кампанию против первой мировой войны, оказываемое сопротивление было куда слабее той бури страстей, какой встретили в 1907 году суфражисток. Большинство населения страны воспринимало саму проблему издевательски, как повод для бурного веселья. Из толпы неслись глумливые выкрики вроде “Давай домой, у тебя там детки плачут!” — это в адрес женщин, а мужчинам независимо от возраста предназначалось: “А ты сказал мамаше, куда пошел?” и тому подобное. В нас швыряли тухлыми яйцами, одно угодило в Элис. Во время моего первого выступления в толпу выпустили крыс, чтобы поднять переполох среди женщин, часть которых участвовала в стоворе и визжала от хорошо разыгранного испуга, дабы продемонстрировать, чего на самом деле стоит их пол. <...> Можно понять неистовство мужчин, почуявших угрозу для своего превосходства, но отчаянное цепляние многих женщин за прошлое, когда к ним, как и ко всему их полу, относились наплевательски, остается для меня загадкой. Никогда не слышал, чтобы американские негры или русские крепостные прибегали к насильственным методам протеста против их собственного освобождения! Самой известной противницей политических прав женщин была королева Виктория. Я стал страстным поборником женского равноправия с юности, с тех самых пор, когда прочел то, что писал об этом Милль. А его я прочел за несколько лет до того, как узнал, что моя мать в бо-е годы возглавляла кампанию в защиту женского избирательного права. Мало что на свете кажется мне более странным, чем стремительная и полная победа этого движения во всем цивилизованном мире.

Со временем я пришел к заключению, что получить ограниченное избирательное право для женщин, являвшееся первоначальной целью кампании, стоило бы больших трудов, чем полное, так как полное было на руку либералам, которые тогда находились у власти. Крайние суфражистки возражали против признания полного варианта избирательного права на том основании, что тогда принцип равноправия не будет соблюден во всех пунктах, ибо, хотя большее количество женщин приобретет право голоса, они получат его на несколько иных условиях, чем мужчины. Из-за этой позиции ортодоксальных суфражисток я в конце концов порвал с ними и примкнул к основной фракции, отстаивавшей право для всех женщин, достигших совершеннолетия. Эту группу организовала Маргарет Дэвис (сестра Крамтона и Теодора), а возглавил Артур Хендерсон¹. Я тогда все еще был либералом и пытался убедить себя, будто Артур всех сбивает с толку, но как-то ничего у меня из этого не получалось.

1. Артур Хендерсон (1863—1935) — английский государственный деятель, лидер лейбористской партии; лауреат Нобелевской премии мира.

Все это занятные и отрадные промежуточные эпизоды в очень тяжелой полосе, тянувшейся с 1902 по 1910 год. Не спорю, то был очень плодотворный период, но вся радость, какую я мог бы извлечь из “Principia Mathematica”, отхлынула в конце 1900 года, после чего страдания и труд слишком меня изнуряли, чтобы хватало сил радоваться. Конец этого восьмилетия оказался более светлым, ибо более щедрым, чем начало, но единственное врезавшееся в память острое ощущение счастья осталось от минуты, когда я передавал рукопись университетскому издательству. <...>

Снова в Кембридже

Покончив с “Principia Mathematica”, я ощутил непривычную пустоту, очень приятную, но тревожную — наверное, так себя чувствуют выпущенные на свободу заключенные. А поскольку в ту пору меня живо интересовала борьба между либералами и палатой лордов за бюджет и соответствующий парламентский акт, я решил заняться политикой и обратился в штаб-квартиру либеральной партии с просьбой выделить мне избирательный округ. Получив назначение в Бедфорд, я поехал туда и произнес речь перед либеральной ассоциацией, наградившей меня аплодисментами. Однако перед выступлением меня завели в маленькую комнатку за сценой и подвергли форменному катехизическому экзамену, состоявшему, сколько я помню, из следующих вопросов:

Вопрос. Принадлежите ли вы к англиканской церкви?

Ответ. Нет, я был воспитан как неконформист.

Вопрос. И остаетесь таковым в настоящее время?

Ответ. Нет, в настоящее время это не так.

Вопрос. Следует ли понимать, что вы агностик?

Ответ. Да, именно так меня следует понимать.

Вопрос. Испытываете ли вы желание время от времени посещать церковь?

Ответ. Нет, не испытываю.

Вопрос. Испытывает ли ваша жена желание время от времени посещать церковь?

Ответ. Нет, не испытывает.

Вопрос. Означает ли это, что вы агностик?

Ответ. Да, пожалуй, это правомерный вывод.

Вследствие данных мной ответов кандидатом от округа был избран мистер Келлауэй, который получил пост министра почтовой связи и во время войны неизменно придерживался нужных взглядов. Должно быть, в Бедфорде радовались, что счастливо отделались от меня. Но и я радовался, что счастливо отделался от них, ибо, пока там раздумывали над моей кандидатурой, я получил приглашение читать лекции по основаниям математики в Тринити-колледже, что было мне несравненно ближе, чем политика, а если бы я прошел в Бедфорде, пришлось бы отказаться от Кембриджа, куда я переехал в октябре 1910 года, к началу осеннего триместра. Кроме квартиры на Бридж-стрит, мне предоставили также комнаты в Невилз-корте, в крыле “Г”. Я страшно их полюбил, то было

первое жилище, которое принадлежало мне и только мне с тех пор, как в 1894 году я окончил Кембридж. Дом в Бэгли-вуд мы продали, и жизнь на новом месте вроде бы стала входить в нормальное русло.

Но мне это только померещилось. Во время выборов 1910 года, еще находясь в Бэгли-вуд, я сказал себе, что должен помочь либералам всем, чем могу, а так как помогать члену парламента от моего округа я не желал, потому что, на мой взгляд, он нарушил ряд важных обещаний, я решил поддержать члена парламента от соседнего округа, располагавшегося за рекой. Им оказался Филипп Моррелл, друг и оксфордский однокашник моего шурина Логена, питавшего к нему самую страстную привязанность. Филипп Моррелл был женат на леди Оттолайн Кавендиш-Бентинк, сестре герцога Портлендского. Мы немного знали друг друга в детстве, потому что тетка Оттолайн, миссис Скотт (бабушка королевых-матери), жила в Хэм-Коммон. У меня сохранилось два ярких, правда не связанных с Оттолайн, воспоминания об этом доме. Во-первых, детский праздник, где я впервые попробовал мороженое. Приняв его за обычный пудинг, я зачерпнул большую ложку и разом проглотил. От неожиданности, к ужасу взрослых, которые не могли понять, в чем дело, у меня полились слезы. Второе воспоминание еще неприятнее. Высаживаясь из кареты, я поскользнулся на брусчатке у дверей миссис Скотт и больно ушиб член. В связи с чем мне было прописано утром и вечером сидеть в горячей ванне и осторожно тереть его губкой, что привело меня в величайшее недоумение, ибо до сей поры мне внушали, что это маловажный орган. Когда Филипп обручился с Оттолайн, Логен весь кипел завистливой злобой и отпускал шипильки по ее адресу, но, впрочем, вскоре смирился с происшедшим. Порой наши пути с Морреллами пересекались, но я всегда держался невысокого мнения о Филиппе, а Оттолайн оскорбляла мое пуританство неумеренным, как я тогда считал, употреблением духов и пудры. Первым заставил меня взглянуть на нее иначе Крамpton Дэвис, которому она помогла наладить работу в возглавляемой им Организации земельных ценностей, чем вызвала его неподдельное восхищение.

Во время январских выборов 1910 года я почти каждый вечер выступал на собраниях в поддержку Филиппа Моррелла и целыми днями ходил по его избирателям. Запомнилось, как в Иффли я зашел в дом к оставшему полковнику, который вылетел в холл с криком: "Вы что ж думаете, я буду голосовать за такого мерзавца! Немедленно убирайтесь, не то спущу на вас собак!" Пожалуй, не осталось деревушки между Оксфордом и Кавершемом, где бы я не выступал. За время этой кампании мне представилось немало случаев поближе познакомиться с Оттолайн. Я увидел, что она по-настоящему добра к самым разным людям и очень серьезно относится к своей общественной работе. Филипп, как и все кандидаты от либералов, проиграл выборы, но получил предложение баллотироваться от округа Бернли, который и представлял в парламенте с декабря 1910 года вплоть до следующих выборов, известных под названием "Кайзера на виселицу!". Все это привело к тому, что некоторое время мы с Морреллами не виделись. Но в марте 1911 года я получил приглашение прочесть три лекции в Париже: одну в Сорбонне и две где-то еще, и поскольку по дороге мне было удобно остановиться в Лондоне, я попросил Морреллов приютить меня на одну ночь в их доме на Бедфорд-сквер, 44. Вкусом Оттолайн отличалась изысканным, правда

несколько экстравагантным, и дом ее был изумительно хорош. Элис никогда не могла разрешить конфликт между квакерской аскезой и эстетизмом ее брата. Поэтому в светской жизни — в украшении гостиной, в праздничной одежде — она считала нужным соблюдать каноны художественного вкуса, но когда дело касалось ее и только ее, верх брали природные инстинкты и квакерская простота, так, например, она всегда носила фланелевые ночные рубашки. А я всю жизнь любил красивые вещи, но не умел себя ими окружить. Обстановка дома Оттолайн утоляла какую-то изголодавшуюся за годы первого брака часть моей души. Едва я переступил порог, как сразу ощутил, что все докучливые неудобства внешнего мира остались позади. В тот день 19 марта, когда я остановился там на пути в Париж, Филиппа не было; как выяснилось, его неожиданно вызвали в Бернли, и я оказался tête-à-tête с Оттолайн. За обедом мы говорили о Бернли, политике, промахах правительства, но потом в беседе зазвучали более интимные ноты. Решившись на робкие ухаживания, я с удивлением увидел, что она их не отвергает. До этой минуты мне и в голову не приходило, что Оттолайн может позволить мне любить себя, но постепенно с приближением темноты желание провести с ней ночь становилось все неотступнее. Наконец я больше не мог сопротивляться и, к величайшему своему изумлению, понял, что глубоко люблю ее и что она отвечает мне взаимностью. До этого времени у меня не было полной близости ни с одной женщиной, кроме Элис. В силу разных привходящих и случайных обстоятельств не было ее в тот вечер и у нас с Оттолайн, но мы договорились стать любовниками, как только представится случай. Меня буквально переполняли чувства, ради которых я был готов пожертвовать всем на свете. Я хотел уйти от Элис и настаивал, чтобы Оттолайн ушла от Филиппа. А что он на это скажет и что почувствует, меня не трогало. Знай я, что он убьет и ее, и меня (как предупреждала миссис Уайтхед), я готов был и на такую цену за одну ночь с Оттолайн. Девять лет железного самоограничения подошли к концу — и концу безвозвратному. Однако в первый вечер не обсуждают все детали будущей жизни. Было уже довольно поздно, когда мы в первый раз поцеловались, и хотя не ложились до четырех часов утра, разговор свелся к отрывистым репликам. Рано утром мне предстояло отправиться в Париж, чтобы читать по-французски лекции перед в высшей степени критически настроенной аудиторией. Собраться с мыслями и сосредоточиться на том, что я говорю, было очень трудно, и подозреваю, что читал я из рук вон плохо. Я жил как в тумане, и все окружающее казалось не совсем реальным. Оттолайн предстояло ехать в Стадленд (который в ту пору был маленьким местечком), и мы договорились, что я приеду туда и пробуду три дня. Но прежде я отправился на уик-энд в Фернхерст, где начал с визита к зубному врачу, который сообщил мне, что он подозревает у меня рак и советует проконсультироваться у специалиста, к которому можно будет попасть лишь через три недели, потому что тот отбыл на пасхальные каникулы. Затем я сказал Элис об Оттолайн. Она впала в ярость и заявила, что на бракоразводном процессе обвинит во всем Оттолайн. Но Оттолайн из-за ребенка и из-за Филиппа, к которому испытывала искреннюю привязанность, не хотела развода, поэтому я должен был уберечь ее от огласки и ответил Элис, что развод она может получить, когда пожелает, но имя Оттолайн не должно при этом фигурировать. Она же твердила, что непременно привлечет Оттолайн к от-

ветственности. Тогда я сказал очень спокойно и твердо, что у нее ничего не получится, ибо, если она предпримет что-либо подобное, я наложу на себя руки, просто чтобы расстроить ее планы. Я бы так и сделал, и она почувствовала, что это не пустые слова. Тут уж она совсем разбушевалась. Так прошло несколько часов. Когда она наконец успокоилась, я прочел лекцию по философии Локка ее племяннице Карин Кастелло, которой предстояло сдавать трайпос, сел на велосипед и уехал. Тем и завершился мой первый брак. В следующий раз мы с Элис встретились в 1950 году как хорошие знакомые.

После этой сцены я отправился напрямик в Стадленд — все еще считая, что болен раком. В Суонидже я нанял старородедовскую колымагу с еле переставлявшей ноги лошастью. Пока она лениво тащилась по горам и долам, я весь извелся от нетерпения и вдруг в сосновом лесочке у дороги увидел Оттолайн и спрыгнул к ней, оставив вещи тащиться тем же способом к пункту назначения. От трех дней и ночей в Стадленде осталось неповторимое ощущение полноты жизни, которая редко бывает так щедро к человеку. Разумеется, я не стал говорить Оттолайн, что у меня находят рак, но мысль о близком конце неимоверно обостряла мою радость, которую, казалось, я вырываю у смерти. Когда зубной врач сообщил мне диагноз, моим первым побуждением было возблагодарить Господа за то, что Он призывает меня к себе, подарив напоследок образ счастья. Пожалуй, в глубине души я сохранил веру в садистического Бога, который испытывает удовольствие от людских мучений. Но в те дни в Стадленде у меня появилось сомнение в том, что Ему это всегда удается. К тому же, когда я наконец попал к специалисту, выяснилось, что я здоров и все мои страхи не более чем буря в стакане воды.

Оттолайн была высокая, с вытянутым, тонким, немного лошадиным лицом и чудесными волосами какого-то необыкновенного цвета — вроде апельсинового варенья, но только потемнее. Доброжелательницы всегда нашептывали, что она их красит, но это неправда. В ее изумительно красивом, мягком, вибрирующем голосе ощущались стальная воля и бесстрашие. Она была стеснительна, и поначалу мы робели друг друга, но оба сильно любили, и постепенно отступавшая застенчивость лишь обогащала палитру наслаждения. Мы оба отличались серьезностью и презрением к условностям, оба принадлежали к потомственной аристократии, но предпочли иной круг общения, поскольку терпеть не могли жестокость, сословное чванство и узколобость знати, но при этом не вполне освоились и в новой среде, где на нас посматривали подозрительно и недоуменно, оттого что мы отличались от остальных. Весь этот сложный комплекс чувств был досконально известен и ей, и мне. Глубокая человеческая близость продолжалась всю нашу жизнь, и хотя с 1916 года мы перестали быть любовниками, это не помешало нам остаться навсегда душевными друзьями.

Оттолайн оказала на меня огромное и по большей части благотворное влияние. Она высмеивала меня, когда во мне просыпался снобизм университетского профессора и научного педанта и я заговаривал непререкаемым тоном. Мало-помалу она отучила меня от мысли, что я испорчен до мозга костей и должен держать под неусыпным контролем разума свои чудовищные пороки. Благодаря ей во мне поубавилось эгоизма и самодовольства. У нее было неподражаемое чувство юмора, и я стал остерегаться невзначай попасть ей на язык. С ее помощью я во

многим одолел свое пуританство и готовность порицать всех и вся. Ну и, наконец, сама счастливая любовь после долгих лет душевной пустоты все упростила и поставила на место. Мужчины часто боятся женского влияния, но, судя по моему опыту, нет ничего неразумнее такого страха. Я думаю, что мужчины нуждаются в женщинах, а женщины — в мужчинах и интеллектуально, и физически. Я, со своей стороны, очень многим обязан женщинам, которых любил и без которых был бы гораздо более ограниченным человеком.

После Стадленда разладившиеся и запутанные семейные отношения накалились еще больше, и все очень страдало. Элис по-прежнему кипела, и Логен тоже. Уайтхеды, которые все это время были моими добрыми ангелами, убедили их отказаться от идеи бракоразводного процесса с привлечением Оттолайн, и Элис заявила, что в таком случае не нуждается в разводе. Я хотел, чтобы Оттолайн ушла от Филиппа, но очень скоро понял, что на это нечего надеяться. А между тем Логен имел объяснение с Филиппом и поставил ему ряд условий, которые Филипп в свою очередь поставил Оттолайн. То были тягостные обязательства, не на шутку омрачившие нам радость любви. Хуже всего было то, что нам запрещалось бывать ночью под одной крышей. Я рвал и метал, а Филипп, и Логен, и Элис, со своей стороны, негодовали не меньше моего. Оттолайн не знала, куда деться от всех этих страстей. В такой обстановке невозможно было сохранить то состояние восторга, с которого начались наши отношения. Я видел, как крепки семейные связи Оттолайн, как она дорожит своим мужем, своим ребенком, своей собственностью, тогда как я в отличие от нее ничем не дорожил, и сознание нашего неравенства заставляло меня мучиться ревностью, упрекать, предъявлять требования. И все же поначалу сила взаимной страсти помогала справляться со всеми бедами. У Оттолайн был небольшой домик в Пеппарде в Чилтернских округах, где она обычно проводила июль. Я обосновался в Ипсдене, в шести милях от Пеппарда, куда ежедневно приезжал на велосипеде — появлялся в полдень и уезжал к полуночи. Жара в то лето стояла небывалая, столбик термометра однажды поднялся до девяноста семи градусов в тени. Мы обычно отправлялись с ланчем в буковый лес и возвращались к вечернему чаю. То был целый месяц величайшего счастья. Но Оттолайн очень нездоровилось, и кончилось тем, что ей пришлось поехать в Мариненбад, куда я вскоре тоже прибыл, только остановился в другой гостинице. С наступлением осени она вернулась в Лондон, и я снял квартиру на Бьюри-стрит, неподалеку от Британского музея, чтобы она могла навещать меня. Я ежедневно читал лекции в Кембридже, но обычно приходил к ней с утра и уходил так, чтобы успеть к 5.30 на лекцию. Оттолайн страдала тяжелыми головными болями, из-за чего наши свидания бывали порой нерадостны, и, к сожалению, в подобных случаях мне не всегда хватало заботливости и предупредительности. Тем не менее мы повздорили лишь однажды, когда я заподозрил ее в религиозности. Но постепенно мной все больше завладевало беспокойство и ощущение, что я люблю больше, чем она. Правда, иногда я забывал об этом страхе, да и то, что я принимал за равнодушие, порой объяснялось ее скверным самочувствием, порой — но не всегда. Я, не зная того, страдал пиореей, из-за чего у меня пахло изо рта, о чем я не имел понятия. А она не могла себя заставить сказать мне об этом, и только когда я сам обнаружил, что болен, и излечился, она призналась, как это ей мешало.

В конце 1913 года я поехал в Рим повидать ее, но там был Филипп, и поездка оказалась неудачной. Я подружился с одной немкой, которую тем летом встретил у озера Гарда. Мы с Сэнгером¹ вышли из Инсбрука и целый месяц шли через Альпы, пока в конце концов не добрались до Пунто-Сан-Виджилио, где присоединились к компании ожидавших нас друзей, состоявшей из мисс Силкоккс, наставницы колледжа Сент-Феликс, Мелисна Стауэлла и его приятельницы, чьего имени я уже не помню. Мы заметили молодую женщину, сидевшую за столиком в одиночестве, и поспорили, замужем она или нет. Я предположил, что она разведена. Чтобы проверить правильность своей догадки, я завязал знакомство и выяснил, что был прав. Ее муж, психоаналитик, решил, — видимо, таковы были его представления о требованиях профессии, — что ему следует расстаться с женой. После их разрыва я ее и встретил. Но как только требования этикета были удовлетворены, они снова поженились и жили долго и счастливо. У этой молодой обворожительной женщины было двое детей. А я в то время безумно хотел иметь детей — при виде играющего на улице ребенка у меня просто сжималось сердце. Мы с ней очень подружались и вместе совершили поездку в деревню. Мне хотелось близости с ней, но я подумал, что сначала должен ей все объяснить про Оттолайна, что и сделал. Сначала она слушала равнодушно, потом стала возражать, но в конце концов согласилась, что на один день можно отменить все запреты. Мы больше никогда не виделись, лишь время от времени до меня доходили вести о ней. <...>

Весной 1914 года я получил приглашение прочесть Лоуэлловские лекции² в Бостоне и одновременно курс философии в Гарварде. Объявив тему своих Лоуэлловских лекций, я на самом деле никак не мог решить, что именно собираюсь говорить. Я часто сидел в холле гостиницы, размышляя о том, что входит в наши представления о Вселенной, ибо такова была заявленная мною тема. Вернувшись в Кембридж из Рима 1 января 1914 года и понимая, что откладывать больше некуда, я вызвал на следующий день стенографистку, хотя не имел ни малейшего понятия, что собираюсь ей диктовать. Но едва она вошла в комнату, мысли мои прояснились, все встало на свои места, и я продиктовал весь текст от начала до конца. Впоследствии он составил книжку под названием “Наши знания о Вселенной как основа для применения научного метода в философии”.

Седьмого марта я взошел на борт “Мавритании”, на которой плыл и сэр Хью Белл. Во время морского перехода его жена старалась не спускать с него глаз, потому что он то и дело оказывался в обществе какой-нибудь хорошенькой девушки. Но когда мы встречались впоследствии, он упорно твердил, что плыл на “Лузитании”, к тому времени уже затонувшей, а не на “Мавритании”.

Из Нью-Йорка я тотчас отправился в Бостон и в поезде чувствовал себя как дома, потому что два моих соседа беседовали о Джордже Тревелльяне³. В Гарварде меня представили всему профессорскому составу. Я

1. Чарльз Перси Сэнгер (1871–1930) — английский экономист и юрист; друг и однокашник Бертрана Рассела по Кембриджу.

2. Джон Лоуэлл (1789–1836) — американский промышленник и филантроп, создатель просветительского фонда для ежегодного чтения в Бостоне двух курсов лекций: для развития интеллекта и морали; по его завещанию, лекции читаются в стенах какого-либо из бостонских университетов, и президент фонда должен носить фамилию Лоуэлл.

3. Джордж Маколей Тревелльян (1876–1962) — английский историк.

горжусь тем, что с первого же взгляда невзлюбил профессора Лоуэлла, который впоследствии принимал участие в осуждении и казни Сакко и Ванцетти. Хотя в ту пору у меня не было никаких причин не жаловать его, я ощущал к нему не меньшую неприязнь, чем в последующие годы, когда он в полной мере явил свои доблести защитника отечества. Каждый гарвардский профессор, с которым меня знакомили, раздражался следующей тирадой: "Наш философский факультет, доктор Рассел, в последнее время понес три невосполнимые потери. Мы лишились общества нашего высокочтимого коллеги, профессора Уильяма Джеймса, вследствие его кончины; профессора Сантаяны, переехавшего в Европу по причинам, которые ему, вне всякого сомнения, представляются уважительными; и последнего по счету, но не по значению — профессора Ройса, который, как я счастлив заметить, остался среди нас, но, увы, перенес инсульт". Все это произносилось вальяжно, серьезно, торжественно. Наконец я понял, что больше не могу это терпеть, — пора принимать ответные меры. В следующий раз во время представления я сам отбарабанил озаначенный текст на рекордной скорости, но — вотще. "Да, профессор Рассел, как вы верно заметили...", — неотвратимо затянул в ответ мой очередной знакомец и не смолк, пока не договорил до конца. Не знаю, все ли американцы таковы или только профессора. Я склонен думать, что только вторые. Гарвардские профессора удивили меня еще одной своей особенностью: если я приходил к ним в гости, они неизменно растолковывали мне дорогу домой, хотя к ним я добирался без посторонней помощи. Что ж, у культуры Гарварда имеются свои пределы: Скофилд, профессор искусствоведения, считал Альфреда Нойза¹ прекрасным поэтом!

С другой стороны, учащаяся молодежь, особенно аспиранты, произвели на меня сильное впечатление. Гарвардская философская школа до того, как она понесла три пресловутые потери, была и в самом деле лучшей в мире. Я гостил у Уильяма Джеймса в Гарварде во время своего пребывания в Америке в 1896 году; восхищался намерением Ройса включить математическую логику в учебный план философского факультета; с Сантаяной, который близко дружил с моим братом, я был знаком с 1893 года и восторгался им в той же мере, в какой не разделял его мнений. Традиции этих философов еще поддерживались. Ральф Бартон Перри делал все возможное, чтобы заменить их, и с огромным воодушевлением взялся за то, что получило название неореализма (Перри был женат на сестре Беренсона). Однако уже тогда он грешил типичным для Новой Англии морализаторством, из-за которого и превратился в интеллектуальную жертву первой мировой войны. Как-то раз он встретился у меня в апартаментах с Рупертом Бруком², о котором до той поры слыхом не слыхал. Руперт, только что вернувшийся из Океании, пространно рассуждал о вырождении тамошнего мужского населения вследствие запрета на каннибализм. Профессор был уязвлен до глубины души: ведь каннибализм — грех, или он чего-то не понимает? Нимало не сомневаюсь, что после гибели Руперта профессор присоединил свой панигирик к славословиям остальных, не сознавая, что встреченный им у

1. Альфред Нойз (1888—1958) — английский поэт, автор сюжетных поэм, написанных в традиционном стиле.

2. Руперт Брук (1887—1915) — английский поэт-баталист, участник первой мировой войны; погиб на поле боя.

меня молодой ниспровергатель устоев и был тем самым юным золотоволосым богом, который отдал жизнь за свою страну.

Как я уже сказал, студенты в Гарварде были замечательные. Моя аспирантская группа — их было двенадцать человек — раз в неделю приходила ко мне на чай; одного из них звали Т. С. Элиот, и впоследствии он написал об этом стихотворение под названием “Мистер Аполлинекс”¹. Тогда я не знал, что Элиот — поэт, хотя, полагаю, “Портрет дамы” и “Пруфрок” уже были написаны, но он считал неуместным упоминать об этом. Он отличался невероятной молчаливостью и лишь однажды обронил замечание, совершенно меня сразившее. В ответ на мои восхваления Гераклита он вдруг бросил: “Да, мне всегда кажется, что он как Вийон”. Я нашел эту мысль столь блестящей, что все время ждал, когда он еще чем-нибудь одарит нас. Второго заинтересовавшего меня ученика звали Демос. Грек, чей отец под влиянием миссионеров принял евангелизм и стал священником, Демос вырос в Малой Азии, и его с детства приучали к мысли, что он будет работать библиотекарем в небольшой местной библиотеке, но когда он прочел все тамошние книги, он понял, что ему больше нечего ждать от Малой Азии, накопил денег и купил себе билет четвертого класса до Бостона. Там он сначала устроился официантом в ресторан, а потом поступил в Гарвард. Он очень упорно работал, а способности у него были блестящие. В конце концов он стал профессором, но не преодолел известной ограниченности. Так, в 1917 году он объяснял мне, что как грек, уроженец страны, которой движут истинно моральные побуждения, не может купиться на фальшь других воюющих сторон.

Когда гарвардский триместр подошел к концу, я проехался еще по нескольким университетам и прочел по одной лекции в каждом из них. Побывал я и в Анн-Арбор; тамошний президент провел меня по всем новым зданиям и особенно задержался в библиотеке, которой больше всего гордился. Мы стояли в прекрасном читальном зале с чудесными рабочими столами, а он объяснял, что нигде в мире нет такого каталога, составленного по последнему слову науки, нигде нет такой современной системы центрального отопления. Я спросил: “А книги берут часто?” Он удивился, но ответил: “Ну, сейчас в зале есть один читатель”. Мы пошли посмотреть на читателя — перед ним лежал роман.

Из Анн-Арбор я отправился в Чикаго, где остановился в семье известного гинеколога, выпустившего книгу о женских болезнях, на обложке которой красовалось цветное изображение матки. Я получил эту книгу в подарок, но ее обложка так смущала меня, что я подарил этот опус знакомому медику. Хозяин мой был вольнодумцем, когда речь шла о богословии, но как только разговор заходил о морали, превращался в завзятого пуританина. Его жена, очаровательная немолодая дама, несколько ограниченная, но довольно проникательная, вызывала страшное раздражение у собственных детей. В семье были четыре дочери и сын, с которым мне тогда не довелось познакомиться, а вскоре после войны он умер. Одна из дочерей приезжала в Оксфорд заниматься античной литературой под руководством Гилберта Марри еще в то время, когда я жил в Бэлливуд. Преподавательница английской литературы в Брин-Мор снабдила ее

1. Стихотворение Т. С. Элиота “Мистер Аполлинекс” написано о Бертроне Расселе и его визите в Гарвард.

рекомендательным письмом к нам с Элис. Я несколько раз виделся с этой девушкой в Оксфорде; она показалась мне яркой личностью, и мне хотелось продолжить знакомство. Перед отъездом в Чикаго я получил от нее письмо с приглашением погостить в доме ее родителей. Она встретила меня на вокзале, и я сразу почувствовал себя с ней легко и просто, как ни с кем в Америке. Оказалось, что она пишет хорошие стихи и вообще отличается замечательным и очень своеобразным литературным вкусом. В этом доме я провел две ночи, причем вторую — с ней. А три ее сестры стояли на страже, чтобы предупредить нас, если покажутся родители. Она была не то чтобы красавица, но обворожительная, страстная, поэтичная, незаурядная. Ей выпала одинокая, безрадостная юность, и казалось, что я могу ей дать то, о чем она мечтает. Мы договорились, что при первой же возможности она приедет в Англию, и мы, не скрываясь, поселимся вместе, а может статься, впоследствии поженимся, если я получу развод. С чем я тотчас и отбыл домой и прямо с борта парохода написал Оттолайн обо всем происшедшем. Она тоже написала мне примерно в то же время, что хочет перейти к платоническим отношениям, — наши письма разошлись в пути. Но мои новости: известие о романе и о том, что в Америке меня вылечили от пиореи, — заставили ее переменить решение. Оттолайн, когда хотела, умела быть неотразимой любовницей, из тех, кого невозможно оставить, — впрочем, в последнее время она почти не давала мне повода об этом вспомнить. По возвращении я застал ее в Лондоне, и мы решили каждый вторник проводить в Бэрнеме. Последняя наша поездка туда совпала с объявлением войны между Австрией и Сербией; Оттолайн была в тот день в ударе. Между тем чикагская девушка уговорила своего ни о чем не догадывавшегося отца поехать с ней в Европу, и 3 августа они отплыли. Но когда она приехала, голова моя была полна войной и только, я собирался выступить с публичным протестом против военных действий и, следовательно, не мог рисковать репутацией, ибо семейный скандал обратил бы в пустой звук любые мои слова. В общем, я понял, что не могу привести в исполнение прежний план. Она осталась в Англии, и хотя время от времени наша связь возобновлялась, война перечеркнула мою любовь, и я разбил своей подруге сердце. Впоследствии она заболела какой-то тяжелой и редкой болезнью, сначала ее парализовало, а потом к этому прибавилось и психическое расстройство. В последний раз я видел ее в 1924 году. В ту пору она уже не могла ходить, но переживала светлый период сознания. Тем не менее во время разговора я все время чувствовал, что ее рассудок заполонили темные, болезненные страхи. Кажется, то была ее последняя ремиссия перед окончательным умопомрачением, хотя прежде, до болезни, она отличалась острым и очень своеобразным умом, чудесным и в то же время необычным нравом, и если бы нам не помешала война и мы осуществили задуманное, возможно, нам довелось бы узнать большое счастье. Эта трагедия до сих пор не дает мне покоя.

Первая война

[168]

ИЛ 12/2000

Период с 1910 по 1914 год был временем перемен. Моя жизнь до 1910-го и моя жизнь после 1914-го разнились между собой так же сильно, как жизнь Фауста до и после встречи с Мефистофелем. Я пережил процесс омоложения, начатый Оттолайн Моррелл и продолженный войной. Наверное, странно, что война вообще способна кого-нибудь омолодить, но она в самом деле вытряхнула из меня старые предрассудки и заставила думать по-новому о многих важных вещах. Кроме того, она подарила мне новый вид деятельности, которая не вызывала у меня той скуки, что овладевала мной всегда, когда я пытался вернуться к математической логике. Таким образом я приучился представлять себя чем-то вроде обыкновенного Фауста, которому Мефистофель явился в виде великой войны.

В жаркие июльские дни я обсуждал в Кембридже сложившуюся ситуацию во всех деталях. Мне не верилось, что Европа обезумит настолько, чтобы ввязаться в войну, но я был убежден: если война начнется, Англия будет в ней участвовать. Я твердо стоял на том, что Англии следует сохранять нейтралитет, и собрал подписи большого числа профессоров и преподавателей под декларацией, которая была опубликована в "Манчестер гардиан". Ко дню объявления войны почти все они изменили свое мнение. Оглядываясь назад, удивляешься, как люди могли не понимать, что грядет. В воскресенье 2 августа я, как уже упоминал в этой автобиографии, встретил во дворе Тринити-колледжа Кейнса, который спешил одолжить у шурина мотоцикл, чтобы ехать в Лондон. Я сразу догадался, что его пригласили в правительство для консультации по финансовым вопросам. Это указывало на наше скорое вступление в войну. В понедельник утром я решил поехать в Лондон. Мы завтракали с Морреллами на Бедфорд-сквер, где выяснилось, что Оттолайн всецело разделяет мой образ мыслей. Она одобрила решение Филиппа выступить в палате общин с пацифистской речью. Я пошел в палату в надежде услышать знаменитое заявление сэра Эдварда Грея, но желающих собралось столько, что пройти мне не удалось. Я, однако, узнал, что Филипп свою речь произнес. Вечером я бродил по улицам, большей частью в районе Трафальгарской площади, видя вокруг толпы возбужденных людей. В тот и последующие дни я, к своему изумлению, обнаружил, что перспектива войны вызывает восторг у обыкновенных людей. Я, как и многие пацифисты, наивно полагал, что войны навязываются равнодушному населению депотичным и двуличным правительством. Я успел заметить, как накануне этих событий сэр Эдвард Грей изощренно лгал, скрывая от народа, что именно имеется в виду под нашей помощью Франции в случае войны. Я наивно полагал: когда народ поймет, что ему лгали, он возмутится; вместо этого он выражал благодарность за предоставленную ему возможность выполнить свой моральный долг. Утром 4 августа я прогуливался с Оттолайн по пустым улицам за Британским музеем, где теперь располагаются здания университета. Будущее рисовалось нам в мрачных тонах. Когда мы делились своими страхами с другими, нас считали сумасшедшими. По сравнению с тем, что произошло потом, наши опасения были дет-

ским лепетом. Вечером 4-го, после ссоры с Джорджем Тревельяном, которая длилась на протяжении всего нашего пути по Стрэнду, я посетил последнее заседание комитета по нейтралитету, на котором председательствовал Грэм Уоллес. Во время заседания раздался удар грома, который старшее поколение членов комитета приняло за взрыв немецкой бомбы. Это рассеяло их последние сомнения по поводу нейтралитета. Первые дни войны повергли меня в состояние глубочайшего изумления. Лучшие мои друзья, такие как Уайтхед, были настроены крайне воинственно. Люди вроде Дж. Л. Хэммонда¹, годами строчившие статьи против участия в европейской войне, заняли совершенно иную позицию — пример Бельгии вышиб у них почву из-под ног. Поскольку я давно знал от своего приятеля, военного из Стафф-колледжа, что Бельгия неминуемо будет втянута в войну, то не предполагал, что серьезные публицисты могут быть столь легкомысленны и невежественны. Газета “Нейшн” устраивала по вторникам завтрак для сотрудников, и 4 августа я туда пошел. Редактор газеты Мэссингем выступал горячо против нашего участия в войне. Он с энтузиазмом принял мое предложение написать в его газету. На следующий день я получил от него письмо, начинающееся словами: “Сегодня — это не вчера”, и далее о том, что его мнение полностью изменилось. Тем не менее в следующем номере он опубликовал мое длинное письмо против войны. Не знаю, что именно повлияло на него, знаю лишь, что одна из дочерей Асквита видела, как 4 августа он спускался по лестнице немецкого посольства, и подозреваю, что ему указали, сколь недальновидно отсутствие патриотизма в такой критический момент. В течение примерно всего первого года войны он оставался патриотом и со временем стал забывать о своем пацифизме. Несколько пацифистов из числа членов палаты общин в компании двух-трех сочувствующих начали собираться в доме Морреллов на Бедфорд-сквер. Я посещал эти собрания, из которых впоследствии возник Союз демократического контроля. Любопытно было обнаружить, что многих пацифистов-политиков больше интересовало, кто из них возглавит антивоенное движение, чем реальная антивоенная деятельность. Тем не менее они заявляли о своем пацифизме, и я изво всех сил старался думать о них хорошо.

Я жил в невероятнейшем эмоциональном напряжении. Хотя я и не предугадал истинный масштаб военной катастрофы, я все же сумел предвидеть гораздо больше, чем многие другие. Будущее вселяло в меня ужас, но еще больший ужас я испытывал от того, что девяносто процентов населения радостно предвкушает кровавую бойню. Мне пришлось пересмотреть свои взгляды на природу человека. В ту пору я был полным невеждой в психоанализе, но своим путем пришел к психоаналитическим воззрениям на человеческие страсти. Я сделал эти выводы, пытаясь осмыслить общее отношение к войне. Раньше я полагал, что родителям свойственно любить своих чад, но война убедила меня в том, что это скорее исключение. Я также полагал, что люди больше всего на свете любят деньги, но обнаружил, что еще больше они любят разрушение. Я полагал, что интеллектуалы, как правило, любят истину, но опять-таки выяснил, что не более десяти процентов из них предпочтут истину популярности. Гилберт Марри, мой близкий друг с 1902 года, занимал в отличие от меня пробурскую позицию. Естественно было ожидать от него, что он

1. Джон Лоуренс Хэммонд (1872–1949) — английский историк, писатель, государственный деятель.

и теперь станет на миролюбивые рельсы, а он принялся писать о вероломстве немцев и сверхъестественных добродетелях сэра Эдварда Грея. Я преисполнился отчаянного сочувствия к молодым людям, которым грозила отправка на бойню, и ненавистью ко всем европейским государственным деятелям. В течение нескольких недель мне казалось, что, встретиться мне на пути Асквит или Грей, я не удержусь от смертоубийства. Однако постепенно эти личные чувства исчезли. Их поглотила огромная трагедия и понимание того, что государственные деятели всего-навсего дали волю стремлениям самих народов.

Кроме всего прочего, меня терзали “муки патриотизма”. Успехи немцев до битвы на Марне вызывали у меня ненависть. Я желал поражения Германии так же страстно, как какой-нибудь отставной полковник. Любовь к Англии — чуть ли не самое сильное чувство, на какое я способен, и отрешиться от него в тот момент было мне очень трудно. Тем не менее у меня никогда не возникало даже мимолетного сомнения относительно того, что я должен делать. Порой я ощущал себя скептиком, порой был циничен, а то и равнодушен, но когда пришла война, до меня словно донесся глас Божий. Я знал, что мой долг — протестовать, пусть даже этот протест не даст плодов. Все мое существо восстало против войны. Как ревнителю истины мне была отвратительна националистическая пропаганда, которая велась во всех воюющих странах. Как стороннику цивилизации мне претило возвращение варварства. Как человека с нормальными родительскими чувствами меня глубоко ранила массовая бойня молодежи. Я не надеялся на то, что из противостояния войне выйдет толк, но чувствовал, что для спасения человеческой чести те, кого еще не сшибло с ног, должны доказать, что они твердо стоят на земле. После того как я увидел эшелоны с новобранцами, отправлявшиеся с вокзала Ватерлоо, меня стали посещать странные видения. Я почти воочию видел, как рушатся и падают в воду лондонские мосты, как город исчезает, словно утренний туман. Его жители казались мне призраками, и я все-речь задумался о том, не есть ли мир, где я вроде бы жил, всего лишь плод моих болезненных кошмаров. Однако эти настроения были мимолетны, а необходимость работать положила им конец.

Первое время Оттолайн была моей надежной опорой. Не будь ее, я бы чувствовал себя совершенно одиноким, но она никогда явно не выражала ни своей ненависти к войне, ни отказа принимать мифы и ту ложь, которыми был затуманен мир.

Некоторое утешение я нашел в беседах с Сантаяной, который находился тогда в Кембридже. Он был нейтралом, а кроме того, питал слишком мало уважения к человеческой породе, чтобы беспокоиться, уничтожит она себя или нет. Его спокойная философская отчужденность, хоть я и не имел желания ей подражать, действовала на меня благотворно. Накануне битвы на Марне, когда казалось, что немцы вот-вот возьмут Париж, он сонно заметил: “Думаю, мне надо поехать в Париж. У меня там зимние кальсоны, не хочется, чтобы они достались немцам. Есть и другая, менее важная причина, она заключается в том, что там у меня осталась рукопись книги, над которой я работал последние десять лет, но она мне не так нужна, как кальсоны”. Он, однако, не поехал в Париж, потому что исход битвы на Марне снял с него эту заботу. Зато в другой раз он мне сказал: “Завтра еду в Севилью, хочу оказаться там, где люди не скрывают страстей”.

С началом октябрьского семестра мне надо было опять читать лекции по математической логике, но это казалось бессмысленным. Поэтому я взялся за организацию отделения Союза демократического контроля среди преподавателей, и многие мои коллеги по Тринити-колледжу на первый взгляд сочувствовали этой идее. Я также выступал на собраниях старшекурсников, которые выразили готовность меня слушать. Помнится, в одной из речей я сказал: "Глупо считать немцев злодеями", и, к моему удивлению, аудитория дружно зааплодировала. Но после того, как затонула "Лузитания", возобладал воинственный дух. Распространилось мнение, будто я каким-то образом несу ответственность за эту катастрофу. Из тех преподавателей, что входили в Союз демократического контроля, многие к тому времени получили мобилизационные повестки. Барнс (впоследствии епископ Бирмингемский) ушел из университета, чтобы стать настоятелем храма. Те, что постарше, начали впадать в истерическое состояние, и я заметил, что за трапезой меня стараются избегать.

Пока шла война, каждое Рождество на меня накатывало такое глубокое, всепоглощающее отчаяние, что я ничем не мог заниматься, только сидел в кресле и думал о бессмысленности человеческого существования. На Рождество 1914 года благодаря Оттолайн я нашел способ отчасти рассеять уныние. Я стал посещать от имени благотворительного комитета нищих немцев, чтобы выяснить, в каких условиях они живут, и, если понадобится, помочь им. Эта работа помогла разглядеть в яростном котле всеобщей ненависти примеры замечательной доброты. Нередко хозяйки жилищ в бедных кварталах, и сами-то бедные, позволяли немцам оставаться у них бесплатно, потому что знали, что работы им не найти. Вскоре это решилось само собой, поскольку всех немцев интернировали, но в первые месяцы войны они страшно бедствовали.

Как-то в октябре 1914 года на Нью-Оксфорд-стрит я встретил Т. С. Элиота. Я не знал, что он в Европе. Выяснилось, что он приехал в Англию из Берлина. Естественно, я спросил, что он думает о войне. "Не знаю, — ответил он, — одно могу сказать: я не пацифист". Иными словами, он готов был воспользоваться любым оправданием геноцида. Я близко сдружился с ним, а впоследствии и с его женой, на которой он женился в начале 1915 года. Поскольку они были отчаянно бедны, я предоставил им одну из двух спален в моей квартире, в результате чего часто мог их видеть. Я любил их обоих и старался всячески им помогать, покада не обнаружил, что невзгоды доставляли им удовольствие. У меня были облигации одной инженерной компании, которая теперь перешла на военные рельсы, номинальной стоимостью три тысячи фунтов. Я никак не мог решить, что мне с ними делать, и наконец отдал Элиоту. Годы спустя, когда война кончилась и сам он позабыл о бедности, Элиот вернул их мне.

Летом 1915 года я написал "Принципы социальной реконструкции", или, как без моего на то согласия назвали эту книжку в Америке, "Почему люди воюют". У меня не было намерения писать что-либо подобное, и книжка была совершенно не похожа на предыдущие мои писания, но все получилось как-то само собой. Я, в сущности, сам не понимал, что пишу, покада не закончил. У нее есть структура и концепция, но и то и другое выявилось, лишь когда было заполнено пространство между первым и последним словом. Там я выдвинул философию политики, осно-

ванную на убеждении, что человеческая жизнь строится скорее под влиянием импульсов, чем разумно обусловленной цели. Импульсы я разделил на две группы — импульсы обладания и импульсы творчества, считая лучшей жизнью ту, которая по большей части строится на творческих импульсах. В качестве примеров, демонстрирующих импульсы обладания, я привел государство, войну и бедность, а примерами творческих импульсов мне послужили образование, брак и религия. По моему убеждению, преобразующим принципом должна стать свобода творчества. Книга создавалась как цикл лекций, которые я потом опубликовал. К моему удивлению, ее ждал быстрый успех. Я писал, никак не рассчитывая на то, что ее будут читать, для меня это было просто как исповедание веры, а она принесла мне кучу денег и заложила основу будущих прибылей.

Эти лекции определенным образом были связаны с моей кратковременной дружбой с Д. Г. Лоуренсом. Оба мы чувствовали, что пришла пора сказать нечто важное о принципиальных изменениях, произошедших в человеческих отношениях, но не сразу разобрались, что наши взгляды на суть этого процесса диаметрально противоположны. Мое знакомство с Лоуренсом было мимолетным и каким-то горячечным, длилось оно всего-навсего с год. Нас свела Оттолайн, которая обожала нас обоих и решила, что мы тоже должны восхищаться друг другом. Пацифизм возбудил во мне дух горького бунтарства, и в Лоуренсе я тоже увидел бунтаря. Поначалу создалось впечатление, что мы можем прийти к определенному согласию, и далеко не сразу мы поняли, что так же отличаемся друг от друга, как каждый из нас от кайзера.

Отношение Лоуренса к войне определялось двумя обстоятельствами. С одной стороны, он не мог быть искренним патриотом, потому что жена у него была немкой. А с другой — так ненавидел человечество, что, с его точки зрения, оба лагеря были правы в своей взаимной ненависти. Выяснив это, я понял, что не могу симпатизировать ему ни в том, ни в другом. Осознание различий, однако, шло постепенно, а на первых порах мы вполне ладили. Я пригласил его к себе в Кембридж, где познакомил с Кейнсом и множеством других людей. Он всех их возненавидел лютой ненавистью и приговаривал, что все они “мертвые, мертвые, мертвые”. Иной раз мне казалось, что он прав, мне нравился его запал, нравились энергия и страстность его чувств, нравилась убежденность в том, что для правильного устройства мира требуется нечто радикальное. Я соглашался, что политика тесно связана с психологией личности. В нем чувствовалась гениальность, и поначалу, не соглашаясь с ним, я сомневался в собственной правоте, думая, что, может быть, он глубже проник в природу человека, нежели я. Далеко не сразу я стал воспринимать его как орудие зла, а он нечто подобное ощутил по отношению ко мне.

В то время я готовил курс лекций, которые вошли потом в “Принципы социальной реконструкции”. Ему тоже хотелось читать лекции, и у нас наместилось сотрудничество. Мы обменивались письмами; мои потерялись, а его были опубликованы. По его письмам можно проследить, как мы постепенно осознавали, сколь глубоки различия между нами. Я твердо верил в демократию, а он развивал целую философию фашизма еще тогда, когда политики до этого не додумались. “Я не верю, — писал он, — в демократический контроль. Я считаю, что рабочий человек способен выбирать губернаторов или радетелей его насущных нужд, но не

более того. Электорат следует тщательно подбирать. Рабочий человек должен выбирать только то руководство, которое будет заниматься тем, что непосредственно его касается, и только. Выбор чиновников высокого ранга следует доверить высшим классам. Верховную власть должно вручить одной голове — ибо все живое имеет одну голову, — и не надобно никаких глупых республик с их глупыми президентами, только один избранный король, что-то вроде Юлия Цезаря". Он, разумеется, воображал, что, когда установится диктатура, он и будет Юлием Цезарем. Мечтательность вообще была его свойством. Он никогда не позволял себе ступить на почву реальности. Пускался в пространные рассуждения о том, как следует вещать Истину большинству, и не знал никаких сомнений по поводу того, станет ли большинство ее выслушивать. Я поинтересовался, что он собирается предпринять. Изложит ли свою философию в книге? Нет: в нашем развращенном обществе всякое написанное слово — ложь. Отправится ли он в Гайд-парк провозглашать Истину с ящика из-под мыла? Нет: это было бы слишком опасно (время от времени на него находили приступы страха). Но что же тогда? — настаивал я. В этом пункте мы обычно меняли тему разговора.

Мало-помалу я убедился, что на самом деле он вовсе не стремился улучшить мир, находя удовольствие в пылких филиппиках о том, как он плох. Если, паче чаяния, эти перлы красноречия дойдут до чьих-то ушей — хорошо; но по большому счету они предназначались узкому кругу преданных учеников, которые отправились бы со святой миссией куда-нибудь в пустыню Нью-Мехико. Все это сообщалось мне на языке фашистского диктатора, как нечто, что я *должен* нести в народ, причем слово "должен" было подчеркнуто тринадцать раз.

Его письма становились все более и более враждебными. Он писал: "Что пользы жить так, как живете вы? Мне не верится, что ваши лекции действительно хороши. Вы исчерпали себя, разве не так? Что пользы в том, чтобы цепляться за тонущий корабль, разглагольствуя на языке толпы? Не лучше ли броситься за борт? Почему бы не очистить сцену? Сегодня должно преступать закон, а не учительствовать или проповедовать". Мне все это казалось чистой риторикой. Я уж и так преступал закон, как ему и не снилось, и его обвинения казались мне беспочвенными. Эти обвинения он в разное время облакал в разные слова. Однажды он мне написал: "Перестаньте работать, совсем перестаньте писать, станьте живым существом, а не механическим орудием. Уйдите с общественной сцены. Ради спасения вашей же чести станьте ничем, моллю, существом, которое знает свое место и не думает. Ради Бога, станьте ребенком, а не мудрецом. *Не делайте* больше ничего — но, ради Бога, начните *быть*, начните с самого начала и будьте идеальным ребенком: во имя мужества.

Да, и хочу вас попросить, когда будете писать завещание, оставьте мне денег, чтобы хватало на жизнь. Живите вечно. Но мне хочется, чтобы вы сделали меня одним из своих наследников".

Тут была одна загвоздка: чтобы оставить ему наследство, нужно было располагать чем-то, что можно было бы завещать.

У него была мистическая философия "крови", которая мне не нравилась. "Есть, — говорил он, — другое вместилище сознания, кроме мозга и нервов. Есть сознание крови, которое существует в нас независимо от обыкновенного интеллекта. Человек живет, сознавая кровью свое бы-

тие, безотносительно к нервам и мозгу. Эта половина жизни принадлежит тьме. Когда я беру женщину, во мне говорит кровь. Познание крови всеобъемлюще. Нам следует понять, что помимо и независимо от интеллектуального и нервного сознания у нас есть бытие крови, сознание крови, душа крови". Эти рассуждения казались мне откровенной чепухой, и я с жаром их отметал, не зная еще тогда, что они ведут прямоком в Освенцим.

Он впадал в ярость, если при нем говорили, что кто-то хорошо относится не к нему, а к кому-то другому, а когда я клеймил войну за страдания, которые она с собой несет, он обвинял меня в лицемерии. "Нипочем не поверю, что в глубине души вы жаждете мира. Вы просто хитрыми обходными путями лелеете свое стремление к бунтарству. Либо удовлетворяйте свою мятежную натуру честно и открыто, признавшись: ненавижу вас всех, лгунов и свиней, и не собираюсь больше метать перед вами бисер, либо держитесь за свою математику, где можете оставаться честным. Но являться в роли ангела мира — извините, по мне, пусть уж лучше в ней является адмирал Тирпиц¹.

Теперь и представить нельзя, какой опустошительный эффект произвело на меня это письмо. Я склонялся к мысли, что он обладает даром прозрения, которого у меня нет, и, когда он заявил, что корни моего пацифизма — в вожделении крови, почти поверил ему. Целые сутки я считал, что не гоюсь для этой жизни, и обдумывал самоубийство. Но потом возобладал здравый смысл, и я решил отказаться от похоронных мыслей. Когда он сказал, что я *должен* нести в народ его доктрины, а не свои собственные, я восстал и попросил его не забывать, что он не учитель, а я не ученик. Он писал: "Истинные враги человечества — это вы, вожделеющие вражды. Вас вдохновляет не ненависть ко лжи, а ненависть к людям из плоти и крови, это извращенная форма духовного вожделения крови. Почему бы не стать его властелином? Давайте разойдемся. Так будет лучше". Я тоже так считал. Но ему доставляло удовольствие извергать на меня свои поношения, и месяцами он изводил меня письмами, в которых теплилось ровно столько дружелюбия, сколько требовалось для поддержания переписки. В конце концов она тихо скончалась без лишнего драматизма.

Мало кто догадывался, что Лоуренс был рупором своей жены. Он обладал даром речи, но идеи рождались в ее голове. Когда психоанализ был едва известен в Англии, она каждое лето навещала лагерь австрийских фрейдистов. Из этого источника она черпала идеи, впоследствии развитые Муссолини и Гитлером, и передавала их Лоуренсу, так сказать, посредством сознания крови. Лоуренс был, в сущности, робок и робость пытался скрыть за бравадой. Но его жена была отнюдь не робка, и ее тирады не сверкали зарницами, а гремели как раскаты грома. Он чувствовал себя относительно спокойно под ее крылышком. Подобно Марксу, он по-снобистски гордился браком с немецкой аристократкой и чудесно описал ее в "Любовнике леди Чаттерли". Он невольно обманывал себя, маскируя царящий в голове хаос под жесткий реализм. Он обладал замечательным пером, но его идеи нельзя просто так беспечно предать забвению.

1. Альфред фон Тирпиц (1849—1930) — немецкий адмирал: сторонник роста вооружений, особенно подводного флота, в целях борьбы с Англией во время первой мировой войны.

Меня привлекали в Лоуренсе динамизм и обыкновение выдвигать дерзкие предположения, которые он почитал за очевидные. Устав от обвинений в непотребной зависимости от разума, я надеялся, что писатель вошьет в меня живительную дозу неразумия. И действительно, он дал мне определенный стимул, и, наверное, книга, которую я написал, вопреки его инвективам оказалась лучше, чем могла быть, не познакомься я с Лоуренсом.

Тем самым я вовсе не хочу сказать, что в его идеях есть доброе зерно. Глядя из сегодняшнего дня, я вообще не вижу в них ничего стоящего. То были идеи чувствительного, несостоявшегося деспота, ярившегося на мир, который не пожелал ему подчиниться. Обнаружив к своему удивлению, что вокруг существуют и другие люди, он возненавидел их. Хотя по большей части продолжал жить в уединенном мире собственных фантазий, населенном призраками, которым его воображение придавало зловещий характер. Его чрезмерная сосредоточенность на сексуальности объяснялась тем, что лишь сексуальный акт давал ему почувствовать, что он не единственное человеческое существо на свете. Однако это открытие было так болезненно, что сексуальные отношения он воспринимал как бесконечное сражение, в котором один пытается уничтожить другого.

В период между войнами мир влекло к безумию. Нацизм придал форму этому влечению. Лоуренс стал прекрасным выразителем культа безумия. Впрочем, не уверен, что холодная, бесчеловечная трезвость политики сталинского Кремля была лучше.

С наступлением 1916 года война приняла еще более ожесточенный характер, и оставаться пацифистом становилось все труднее. Наши отношения с Асквитом были по-прежнему дружескими. До того как Оттолайн вышла замуж, он был ее обожателем, и я часто встречал его у нее в Гарсингтоне. Однажды, искупавшись в пруду нагишом, я вышел на берег и наткнулся прямо на него. Этой встрече премьер-министра с пацифистом явно не доставало приличествующей случаю величественности. Как бы то ни было, я надеялся, что он не упечет меня за решетку. Во время Пасхального восстания¹ в Дублине тридцать семь узников совести были приговорены к смертной казни, и мы, депутация пацифистов, обратились к Асквиту с прошением о смягчении приговора. Он в ту пору как раз торопился в Дублин, но вежливо выслушал нас и принял необходимые меры. Даже в правительстве многие считали, что узники совести были незаконно осуждены на смерть, и если бы не Асквит, свершилась бы ужасная ошибка и многих из них отправили бы на расстрел.

Однако Ллойд Джордж оказался более крепким орешком. Однажды я с Клиффордом Алленом (председателем Антимобилизационного комитета) и мисс Кэтрин Маршалл отправился к нему на беседу по поводу узников совести, томившихся в тюрьме. Он назначил нам встречу во время ланча в Уолтон-Хит. Мне не хотелось пользоваться его гостеприимством, но делать было нечего. Он вел себя очень дружелюбно, однако понимания мы не встретили. В конце беседы я разразился речью чуть ли не в библейском духе, сказав, что его имя войдет в историю бесславия. Более я не имел удовольствия с ним встретиться.

1. Ирландское национальное восстание 20–24 апреля 1916 г. (на Пасхальной неделе) против господства англичан.

С началом мобилизации почти все время и всю энергию я тратил на процессы узников совести. Антимобилизационный комитет полностью состоял из мужчин призывного возраста, но в качестве ассоциированных членов они принимали женщин и мужчин постарше. После того как весь первоначальный состав комитета попал за решетку, был сформирован новый комитет, председателем которого стал я. Работы было по горло, требовалось следить за соблюдением прав личности и за тем, чтобы военные власти не посылали отказников во Францию, ибо после отправки к ним могли применить даже такие меры наказания, как смертная казнь. Я очень много ездил по всей стране. Три недели провел в шахтерских районах Уэльса, выступая и в помещениях, и прямо на улицах. Мне никто не мешал, и везде в промышленных районах я находил понимание аудитории. Однако в Лондоне все было иначе.

Клиффорд Аллен, председатель Антимобилизационного комитета, был очень способным и очень гибким молодым человеком. Он принадлежал не к христианскому, а к социалистическому крылу пацифистского движения. Налаживание гармоничных отношений между социалистами и христианами шло туго, и он продемонстрировал беспристрастность, достойную восхищения. Летом 1916 года он попал под военный трибунал и был осужден на тюремное заключение. Всю войну я встречался с ним только в те редкие дни, когда его выпускали на волю. Его освободили по состоянию здоровья (он находился на грани смерти) в начале 1918 года, но вскоре я и сам угодил в тюрьму.

Во время рассмотрения дела Клиффорда Аллена — его тогда впервые привлекли к судебной ответственности — я познакомился с леди Констанс Моллесон, известной под своим сценическим именем Колетт О'Нил. Ее мать, леди Эннсли, дружила с принцем Генрихом Прусским. Их дружба началась до войны и возобновилась после ее окончания. Это, конечно, плохо сочеталось с ее принадлежностью к стану пацифистов, но Колетт и ее сестра, леди Клер Эннсли, были настоящими пацифистками и сотрудничали с Антимобилизационным комитетом. Колетт была замужем за актером и драматургом Майлсом Моллесоном. В 1914 году он записался в армию, но, к счастью, его не взяли из-за больной ноги. Таким образом, он находился в очень выгодном положении, которое использовал на благо отказников, ибо убедился в справедливости пацифистского движения. Я обратил внимание на Колетт в суде и там же был ей представлен. Выяснилось, что она дружила с Алленом, и он мне потом рассказывал, как щедро она отдавала этой работе свое время, как свободна в своих суждениях и предана делу пацифизма. Ну а то, что она была молода и очень хороша собой, я увидел сам. На сцене она делала большие успехи, сыграла подряд две главные роли, но когда пришла война, целые дни проводила в помещении комитета, надписывая конверты. Зная все это, я, естественно, постарался познакомиться с ней поближе.

Тем временем наши отношения с Оттолайн становились все более отчужденными. В 1915 году она уехала из Лондона и поселилась в Мейнор-хаусе в Гарсингтоне, недалеко от Оксфорда. Этот прелестный старый дом раньше использовался как ферма, и Оттолайн вплотную занялась его переустройством. Я довольно часто навещался в Гарсингтон, но она относилась ко мне вполне равнодушно. Я искал других женщин, которые могли бы заполнить образовавшуюся брешь, но безуспешно —

пока не познакомился с Колетт. После встречи на суде мы увиделись на обеде, устроенном пацифистами. Из ресторана мы ушли вместе, я проводил ее домой, на Бернард-стрит, 43, возле Рассел-сквер. Меня сильно влекло к ней, но я не сумел далеко продвинуться по части ухаживания и только сказал, что через несколько дней должен выступить с речью в Портмен-румз на Бейкер-стрит. Явившись туда, я увидел ее в первом ряду и пригласил после лекции поужинать в ресторане, после чего опять пошел проводить. На этот раз меня пригласили зайти. Колетт была очень молода, но обладала той несуетливой смелостью, которая была свойственна Оттолайн (смелость — качество, существенное для меня в каждой женщине, в которую я готов серьезно влюбиться). Мы проговорили полночи, и посреди беседы нас настигла любовь. Говорят, надо быть стыдливым; я с этим не согласен. Мы были едва знакомы, но именно в ту ночь между нами установились очень серьезные и глубокие отношения, иногда радостные, иногда болезненные, но никогда не пошлые или мелкие по сравнению с теми общественными страстями, которые вызывала война. В сущности, война прочно вплелась в ткань нашей любви. В тот раз, когда мы впервые легли в постель (в первую ночь нам за разговорами было не до постели), с улицы вдруг донесся дикий крик радости. Я вскочил, бросился к окну и увидел падающий горящий цеппелин. Торжествующий крик толпы был вызван агонией умирающего в кабине летчика. Любовь Колетт служила в ту пору для меня убежищем — не от самой жестокости, от которой было не убежать, но хотя бы от непереносимого сознания того, каковы люди. Вспоминаю одно воскресенье, которое мы провели, гуляя в Саутдауне. Вечером мы пришли на станцию, чтобы сесть на поезд и вернуться в Лондон. Станция была запружена солдатами, большинство отправлялись на фронт, почти все пьяные, половина в компании таких же пьяных проституток, другую половину провожали жены или подружки, беспомощные, отчаявшиеся, полубезумные. Меня пронзил жестокий ужас войны, и я приник к Колетт. В мире ненависти она была хранительницей любви, любви во всех смыслах слова, от самого расхожего до самого глубинного. В ней была несокрушимость камня, что в те дни просто не имело цены.

После ночи, когда сгорел цеппелин, я ушел от нее рано утром в дом моего брата, где тогда жил. По дороге мне попался старик, торговавший цветами. Он выкрикивал: “Прелестные нежные розы!” Я купил букет, заплатил и велел доставить на Бернард-стрит. Можно было предположить, что деньги возьмут, а цветы не доставят, но я знал, что все будет в порядке. Слова “прелестные нежные розы” стали с тех пор лейтмотивом моих мыслей о Колетт.

Мы поехали на трехдневный “медовый месяц” (больше я не мог себе позволить) в гостиницу “Кот со скрипкой” на бакстонских болотах. Было зверски холодно. По утрам в кружке замерзала вода. Но мрачноватые болота отвечали нашему настроению. От них веяло холодом, но они создавали ощущение свободы. Мы проводили дни в долгих прогулках, а ночи были наполнены страстью, в которой растворялась вся боль мира, оставляя почти нечеловеческий экстаз.

Поначалу я даже не понимал, как серьезна моя любовь к Колетт. Я привык считать, что все серьезные чувства отданы Оттолайн. Колетт была столь молода, простодушна, ненасытна в своей любви к удовольствиям, что я не доверял собственным чувствам, думал, что просто затеял

легкую интрижку. На Рождество я поехал в Гарсингтон, где собралась большая компания. Там был Кейнс, который, совершив шуточный обряд венчания двух собак, закончил словами: "Кого соединил человек, того не разлучит собака". Там был Литтон Стрейчи¹, который прочитал нам отрывок из рукописи "Знаменитых викторианцев". Были также Кэтрин Мэнсфилд и Миддлтон Мерри². Я уже был с ними знаком, но именно тогда поближе сошелся с Кэтрин. Не могу судить о верности своих впечатлений, но они сильно расходятся с мнениями других. Она была восхитительная собеседница, лучше, чем писательница, особенно когда рассказывала о том, что собиралась писать; когда же речь заходила о людях, в ее словах сквозила зависть и обнаруживалась опасная проникаемость относительно вещей, которые они предпочли бы скрыть, а также их наименее привлекательных свойств. Она ненавидела Оттолайн только потому, что Мерри та нравилась. Я понял, что должен преодолеть чувства, которые испытывал к Оттолайн, поскольку она не отвечала мне настоящей взаимностью и не могла дать мне счастье. Я выслушал все, что имела сказать против нее Кэтрин Мэнсфилд, и к концу уже мало чему верил, но все же настроился думать об Оттолайн скорее как о друге, чем как о возлюбленной. (Потом я с Кэтрин больше не встречался, зато мог целиком отдаться чувству к Колетт.)

Встреча с Кэтрин произошла в опасную минуту, когда моя личность подвергалась трансформации. Из-за войны я чуть было не стал законченным циником, и мне стоило большого труда убедить самого себя в том, что какая бы то ни было деятельность имеет смысл. Временами на меня находили припадки такого отчаяния, что я целыми днями неподвижно сидел в кресле, изредка почитывая Экклезиаста. А потом пришла весна, и я вдруг обнаружил, что избавился от всех сомнений по поводу Колетт. На самом пике моего зимнего отчаяния я нашел себе занятие, хотя и столь же бесполезное, как все прочие, но в ту пору не лишнее смысла. Поскольку Америка продолжала сохранять нейтралитет, я написал открытое письмо президенту Вильсону, призывая его спасти мир. Вот начало этого письма.

Сэр,

у Вас есть возможность оказать огромную услугу человечеству, превзойдя в служении ему даже Авраама Линкольна, сколь бы велик он ни был. В Вашей власти закончить войну справедливым миром, что в свою очередь рассеяло бы угрозу новой войны в ближайшем будущем. Еще не поздно избавить европейскую цивилизацию от уничтожения; но может оказаться слишком поздно, если позволить войне продлиться еще два или три года, как предсказывают военные.

Желание воевать сейчас достигло той точки, откуда всем, кто не потерял способность думать, ясно видны дальнейшие перспективы. Главам всех воюющих стран должно быть понятно, что победа в этой войне невозможна ни для одной из сторон. В Европе преимущество за Германией; за пределами Европы и на морях преимущество у союзных войск. Ни та, ни другая сторона не способны одержать столь полную победу, чтобы заставить противника искать мира. Война наносит тяжкие удары, но не такие тяжкие, чтобы положить конец военным действиям. Очевидно, что рано или поздно придет время переговоров, ко-

1. Литтон Стрейчи (1880–1932) — английский писатель-биограф, член "группы Блумсбери".

2. Джон Миддлтон Мерри (1889–1957) — английский критик, издатель "Атенеума" и других литературных журналов; муж писательницы Кэтрин Мэнсфилд.

торые будут вестись исходя из наличествующего на тот момент баланса побед и потерь, а результат их будет почти таким же, какого можно достигнуть и сейчас. Германское правительство признало этот факт и выразило свою готовность заключить мир на условиях, которые по меньшей мере можно считать платформой для переговоров. У правительств союзников не хватило мужества публично признать то, что они не могут отрицать неофициально, однако надежда на решительную победу вряд ли имеет право на поощрение. Из-за недостатка мужества они готовы вовлечь Европу в ужасы непрерывной войны еще на два или три года. Это несовместимо с понятием гуманизма. Вы, сэр, можете положить этому конец. Ваша власть дает такую возможность и возлагает на Вас ответственность; Ваши предшествующие действия вселяют уверенность в том, что Вы воспользуетесь Вашей властью с беспрецедентной для государственных деятелей мерой мудрости и гуманности...

Военная цензура осложняла отправку документа такого рода, но Кэтрин, сестра Хелен Дадли, которая как раз у нее гостила, взялась отвезти письмо в Америку. Она нашла вполне невинный способ его спрятать и доставила прямиком в Комитет американских пацифистов, благодаря которым письмо было напечатано чуть ли не во всех американских газетах. Мне важно было донести до американцев мысль, которую разделяли многие, что эта война не может кончиться ничьей победой. И таков будет ее исход, ежели Америка по-прежнему будет держать нейтралитет.

С середины 1916 года и до того, как в мае 1918-го я попал в тюрьму, я очень много работал с Антимобилизационным комитетом. С Колетт мы встречались только урывками, и сами встречи чаще всего были связаны с этой работой. Клиффорда Аллена периодически сажали на несколько дней в тюрьму и, когда он категорически отказался подчиняться приказам военных, отдали под трибунал, и мы с Колетт вдвоем ходили на судебные заседания.

Когда произошла революция Керенского, в Лидсе состоялся большой митинг тех, кто ей сочувствовал. Я там выступал, а Колетт присутствовала вместе с мужем. Мы поехали поездом с Рамсеем Макдональдом, который со специфически шотландским юмором рассказывал в пути длинные истории, столь занудные, что их просто невозможно было дослушать до конца и узнать, в чем же соль. В Лидсе было решено попытаться сформировать в различных районах Англии и Шотландии организации, которые в перспективе могли бы стать рабочими и солдатскими советами по русскому образцу. В этих целях в лондонской церкви Братства на Саутгейт-роуд мы провели митинг. Патриотические газеты разослали листовки по всей округе (очень бедному району), в которых говорилось, что мы связаны с немцами и подаем сигналы их аэропланам, чтобы они знали, куда бросать бомбы. Наш митинг не имел успеха, и церковь осадила целая толпа. Большинство из наших решили, что сопротивляться бесполезно и даже вредно — ведь мы были непротивленцами, остальные побоялись, что нас слишком мало, чтобы противостоять всему населению района. Но несколько человек, в том числе Фрэнсис Мейнелл, все же попытались сопротивляться, и я помню, как он вошел с улицы с лицом, залитым кровью. Во главе толпы стояли офицеры, все, кроме них, были пьяны. Самые отчаянные вооружились досками, утыканными ржавыми гвоздями. Офицеры попыта-

лись заставить присутствовавших среди нас женщин покинуть церковь, чтобы потом разделаться с мужчинами, которых они, как и всех пацифистов, считали трусами. В этой ситуации отличилась миссис Сноуден. Она хладнокровно отказалась уйти, если вместе с женщинами не позволят выйти и мужчинам. Ее поддержали и другие женщины. Это озадачило офицеров, которые не желали нападать на женщин. Но толпа, почувя запах крови, пришла в неистовство. Полиция взирала на все это спокойно. Двое пьяных хулиганов бросились на меня с досками. Пока я раздумывал, как отразить атаку, одна из женщин подошла к полицейским и попросила защитить меня. Те в ответ просто пожали плечами. "Но это известный философ", — сказала она. На что полицейские опять пожали плечами. "Весь мир знает его как выдающегося ученого", — продолжала она. Полицейские не двинулись с места. "Его брат — граф", — в отчаянии выкрикнула она. В ответ на последний аргумент они поспешили мне на помощь. Мне, однако, она уже была не нужна. Я обязан жизнью молодой женщине, которую даже не знал. Она встала между мной и этими негодяями, и я успел ускользнуть. К счастью, сама она не пострадала. Но многие, в том числе и женщины, выбрались из церкви в разорванной одежде. Колетт тоже была там, но нас разделила толпа, и я не мог найти ее, пока мы оба не оказались на улице. Домой мы возвращались вместе, настроение у нас было подавленное.

Проповедник церкви Братства, пацифист, был человеком необычайного мужества. Несмотря на печальный опыт, он попросил меня вновь обратиться к прихожанам его церкви. На этот раз толпа устроила поджог прямо под кафедрой, и мое выступление было сорвано. Два раза встречался я со столь явными проявлениями агрессивности, все прочие собрания проходили довольно мирно. Тем не менее газеты представили их в совершенно ином свете, и мои друзья, не исповедовавшие пацифизм, пытались меня урезонить: "Зачем тебе ходить на собрания, если толпа их всегда срывает?"

К тому времени обострились мои отношения с правительством. В 1916 году я написал листовку, которую распространил Антимобилизационный комитет, об одном узнике совести, приговоренном к тюремному заключению. Листовка была напечатана без подписи, и я с удивлением узнал, что ее распространители попали за решетку. Тогда я написал в "Таймс", что автором являюсь я. Против меня было выдвинуто обвинение, и в присутствии лорд-мэра я выступил с пространной речью в свою защиту. Меня приговорили к штрафу в 100 фунтов. Я не стал платить, тогда в погашение штрафа на эту сумму было продано мое имущество в Кембридже. Мои добрые друзья выкупили эти вещи и вернули мне, так что мой протест остался безнаказанным. Тем временем все мои молодые коллеги в Тринити-колледже получили мобилизационные повестки. Старшее поколение колледжа также сочло необходимым внести свой вклад в победу: меня лишили права читать лекции. Когда в конце войны молодежь вернулась в университет, мне предложили возобновить лекции, но у меня уже не было на то желания.

Как ни странно, рабочие военных заводов склонялись к пацифизму. Мои выступления в Южном Уэльсе, каждое из которых весьма неточно освещалось соответствующими наблюдателями, привели к тому, что министерство обороны издало приказ, запрещающий мне выезд в закрытые районы. Под закрытыми районами подразумевались зоны, особо

охранявшиеся от шпионов. Сюда входило все побережье. Вследствие заявленных протестов министерство вынуждено было отметить, что не подозревает меня в шпионаже в пользу Германии, тем не менее меня не подпускали к побережью, чтобы я не мог подавать сигналы немецким подводным лодкам. Приказ вышел как раз когда я вернулся в Лондон из Суссекса, где останавливался у Элиотов. Мне пришлось попросить их привезти мне расческу и зубную щетку, потому что правительство запретило мне сделать это самому. Если бы не эти знаки внимания со стороны властей предержавших, я бросил бы пацифистскую работу, поскольку убедился в ее полной бесполезности. Однако, обнаружив, что правительство думает иначе, я решил, что, должно быть, заблуждаюсь, и продолжал в том же духе. Независимо от того, видел я в этой работе какой-то толк или нет, я уже не мог оставить ее, иначе могло бы показаться, что я испугался.

Антимобилизационный комитет издавал еженедельную газетку под названием “Трибунал”, и я писал статьи в каждый номер. После того как я перестал с ней сотрудничать, мой преемник, заболев, попросил написать статью вместо него. Я выполнил его просьбу и написал, что американских солдат собираются использовать в Англии как штрейкбрехеров, к чему они вполне привыкли у себя на родине. Это утверждение я подкрепил цитатой из доклада сената. За эту публикацию меня приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев. Арест не вызвал у меня неудовольствия, напротив, помог сохранить самоуважение и дал возможность поразмышлять над чем-то более светлым, чем разгул разрушительных сил. Благодаря вмешательству Артура Бальфура меня разместили в отделении первой категории, так что, находясь в тюрьме, я мог читать и писать сколько хочу, при условии, что не буду заниматься пропагандой пацифизма. Тюрьма во многих отношениях показалась мне вполне приятным заведением. У меня не было никаких обязательных занятий, мне не надо было принимать трудных решений, бояться непрошенных визитеров, ничто не отвлекало меня от работы. Я очень много читал. Написал книгу “Введение в философию математики”, что-то вроде популярной версии “Оснований математики”, и приступил к работе над “Анализом сознания”. Мне было интересно общаться с заключенными, которые нравственно ничем не уступали тем, кто жил на воле, разве что были чуточку поглупее, коль скоро позволили себя арестовать. Для тех, кто привык читать и писать, но не имел преимуществ привилегированного положения, как я, тюрьма — жестокое и ужасное наказание. Спасибо Артуру Бальфуру — я не испытал таких лишений. Я благодарен ему за помощь, хотя в корне не согласен с проводимой им политикой. Меня очень развеселил тюремный охранник, который пожелал записать сведения обо мне. На вопрос о вероисповедании я ответил “агностик”. Он спросил, как это пишется, и со вздохом заметил: “Что ж, религий много, но я думаю, все верят в единого Бога”. Это замечание сместило меня целую неделю. Как-то раз, читая “Знаменитых викторианцев” Стрейчи, я так громко расхохотался, что вошел охранник и сказал, чтобы я не забывался, тюрьма — место, где отбывают наказание. В другой раз Артур Уэйли, переводчик китайской поэзии, прислал мне только что переведенное и еще не опубликованное стихотворение:

Мне прислали в подарок из Аннама
 Красного какаду.
 Нежного, как цветы персика,
 Говорящего на человеческом языке.
 И с ним сделали то, что всегда делают
 С учеными и речистыми.
 Взяли клетку с крепкими прутьями
 И заперли в ней.

Дважды в неделю мне разрешали свидания, конечно всегда в присутствии тюремщика, но от того не менее радостные. Оттолайн и Колетт приходили по очереди и приводили с собой еще одного-двух человек. Я изобрел способ нелегальной отправки писем: вкладывал листки в неразрезанные страницы книг. Разумеется, я ничего не объяснял в присутствии охранника. В первый раз, вручая Оттолайн “Труды Лондонского математического общества”, сказал, что эта книга гораздо интереснее, чем кажется. Еще раньше я нашел способ переправлять свои любовные послания к Колетт через начальника тюрьмы: читая мемуары о Великой французской революции, я обнаружил там письма Жирондена Бюзо к мадам Ролан, а так как я писал свои письма по-французски, я говорил, что переписал их из книги, — надо сказать, по смыслу они не так уж разнились. А вообще-то я подозреваю, что начальник тюрьмы просто не понимал по-французски, но не хотел признаваться в своем невежестве.

В тюрьме было полно немцев, в том числе очень образованных. Когда я однажды опубликовал рецензию на книгу о Канте, ко мне подошли собратья-заключенные и деликатно указали на не вполне адекватную интерпретацию его философии. Некоторое время в той же тюрьме содержался Литвинов¹, но мне не дали возможности поговорить с ним, хотя издавна я его видел.

Настроения, которые владели мною в заключении, нашли отражение в моих письмах к брату, как и все прочие, перлюстрированных начальником тюрьмы.

6 мая 1918 г.

...Жизнь здесь напоминает плавание на океанском лайнере: тебя втиснули в толпу заурядных человеческих особей, и единственная возможность скрыться — уединиться в своей каюте. Я не нахожу, что эти люди хуже обыкновенной толпы, за исключением, пожалуй, того, что они слабее духом, если судить по лицам. Но это меня мало беспокоит. Единственное большое испытание для меня — невозможность видаться с друзьями. Какую радость доставила мне наша вчерашняя встреча! Надеюсь, когда ты придешь в следующий раз, захватишь с собой еще двоих — вероятно, у вас с Элизабет есть список. Ужасно хочется повидать как можно больше друзей. Кажется, ты решил, что я сделался равнодушен к подобным вещам, но ты ошибаешься. Встречи с людьми, которых я люблю, не могут стать безразличны. Мне нравится перебирать в уме все, что навеяло воспоминания о приятных происшествиях.

Раздражительность и недостаток табака беспокоят меня не так сильно, как я опасался, но со временем, наверное, дадут о себе знать. Отдых от бремени

1. Максим Литвинов (1876—1951) — советский государственный и партийный деятель, занимавший в Наркоминделе посты члена коллегии, зам. наркома, наркома.

ответственности столь сладостен, что перевешивает почти все неудобства. Тут я ни о чем не забочусь; нервы отдыхают – ощущение божественное. Я свободен от мучительных вопросов: что еще мог бы я сделать? Какие еще меры можно предпринять, до которых я не додумался? Есть ли у меня право бросить все и вернуться к философии? Здесь я невольно должен от всего отрешиться, и это гораздо покойнее, нежели сделать то же по доброй воле и терзаться сомнениями насчет своей правоты. Тюрьма обладает некоторыми прерогативами католической церкви...

27 мая 1918 г.

...Передай леди Оттолайн, что я прочитал обе книги об Амазонке. Томлинсона я полюбил, Бейтс навевает на меня скуку, пока я его читаю, но оставляет в памяти яркие образы, которые потом приятно вспоминать. Томлинсон многим обязан “Сердцу тьмы”. Он составляет разительный контраст Бейтсу. Видно, наше поколение в сравнении с другими слегка повредилось в уме, потому что позволило себе узреть немного истины, а истина призрачна, безумна, неприглядна; чем больше на нее взираешь, тем меньше в тебе остается душевного здоровья. Викторянцы (бедняжки) были здоровы и удачливы, потому что никогда не приближались к истине. Но что касается меня, то уж лучше я сойду с ума от истины, чем останусь в здравом уме, но во лжи...

10 июня 1918 г.

...Пребывать здесь, в этих условиях, не более неприятно, чем служить атташе в парижском посольстве, и не так мерзко, как в том мире ужаса, в котором я провел полтора года, занимаясь у репетитора. Молодые люди, с которыми я имел тогда дело, почти все пошли в армию или в церковники, так что по части нравственности стояли ниже среднего уровня...

8 июля 1918 г.

...Я не ропщу, напротив. Поначалу я был слишком озабочен собственными проблемами, хотя и в пределах разумного, надеюсь. Теперь я почти не думаю о них, ибо сделал все, что мог. Я много прочитал и весьма плодотворно занимался философией. Может показаться странным и невероятным, но мое настроение зависит от войны не больше, чем от чего-либо иного: когда дела у союзников идут хорошо, я радуюсь, когда плохо – волнуясь о всяких очень далеких от войны вещах...

22 июля 1918 г.

...Я читал о Мирабо. Его смерть удивительна. Умирая, он сказал: “Ah, si j’eusse vécu, j’eusse donné de chagrine à ce Pitt!”¹ – и это нравится мне больше, чем слова Питта. Но это не самые последние его слова. Он продолжил: “Il ne reste plus qu’une chose à faire: c’est de se parfumer, de se couronner de fleurs et de s’environner de musique, afin d’entrer agréablement dans le sommeil dont on ne se réveille plus, Legrain, qu’on se prépare à me raser, à faire ma toilette toute entière”². Потом, повернувшись к рыдающему другу: “Eh bien! Êtes-vous content, mon cher connoisseur en belles morts? – Наконец, услышав ружейные выстрелы: – Sont-ce déjà les funérailles d’Achille?”³ И затем, очевидно, умолк, решив, как я думаю, что все сказанное

1. Случись мне выжить, я пожалел бы Питта (франц.).

2. Мне осталось только одно: надушиться, украсить себя цветами, позвать музыкантов и погрузиться в приятный сон, от которого нет пробуждения; Легран, который приготовил мне бритву, завершит мой туалет (франц.).

3. Вы довольны, мой дорогой знаток прекрасной смерти? Разве это не похороны, достойные Ахилла? (франц.)

далее испортит впечатление. Это иллюстрация к тезису, который я защищал в нашем разговоре в среду, о том, что необыкновенный взрыв энергии порождается необыкновенной мерой тщеславия. Есть и другой движущий мотив: любовь к власти. Филипп II Испанский и Сидни Уэбб с Гроувенор-роуд тщеславием не отличаются.

Единственное, из-за чего я страдал в тюрьме, — это разлука с Колетт. Ровно через год после того, как я влюбился в нее, она полюбила другого, хотя и не хотела, чтобы в наших отношениях что-либо менялось. Но меня мучила ревность. Я был самого худшего мнения об этом человеке, и не без основания. Мы с ней ужасно ссорились, и наши отношения уже не могли быть прежними. Все время, пока я был в тюрьме, меня терзала ревность, сводило с ума бессилие. Я не мог оправдать свою ревность, которую считаю отвратительным чувством, но она буквально сжирала меня. Испытав припадок ревности в первый раз, я почти полмесяца не мог спать ночами и заснул, только когда доктор прописал мне снотворное. Теперь я понимаю, какая это была глупость, поскольку чувства ко мне со стороны Колетт были достаточно серьезными, чтобы пережить какое угодно количество незначительных влюбленностей. Однако подозреваю, что философское отношение, которое дается мне сейчас так легко, обязано не столько философии, сколько физиологии. Дело в том, что Колетт была очень молода и не могла постоянно жить в атмосфере сугубой серьезности, как я. Но все это я понимаю теперь, а тогда позволил ревности завладеть мною, дал Колетт грубую отповедь, и в результате ее чувства ко мне значительно охладели. Мы оставались любовниками до 1920 года, но возвышенное состояние первого года уже не вернулось.

Я вышел из тюрьмы в сентябре 1918 года, когда стало ясно, что война идет к концу. Вместе с многими другими я возлагал большие надежды на Вудро Вильсона. Конец войны был таким стремительным и драматичным, что мы не успели эмоционально перестроиться. Утром 11 ноября, за несколько часов до того, как это стало общеизвестно, я уже знал о достигнутом соглашении. Я вышел из дому и сказал о перемирии первому встречному — бельгийскому солдату, который отозвался словами: "Tiens, c'est chic!"¹ Я зашел в табачную лавку и сказал об этом продавщице. "Очень рада, — ответила она, — теперь мы наконец избавимся от этих интернированных немцев". В 11 часов, когда было сделано официальное объявление, я шел по Тоттенхэм-Корт-роуд. Через две минуты народ из контор и магазинов повалил на улицы. Люди садились в автобусы и вели водителей везти их куда заблагорассудится. Я видел, как мужчина и женщина, явно незнакомые, встретились на середине улицы и стали целоваться.

Ночью я стоял на улице, наблюдая за настроениями толпы, как в тот августовский день четыре года назад. Толпа была беспечна и спокойна, за все это ужасное время люди не научились ничему, кроме того, чтобы с еще большим безрассудством хвататься за каждое самое малейшее удовольствие. Я чувствовал себя отчаянно одиноким в этой веселой толпе — как призрак, явившийся ненароком с другой планеты. Конечно, я тоже радовался, но моя радость была не та, что у остальных. Всю свою жизнь я страстно желал ощутить единение с массой, с толпой, охвачен-

1. Вот как! Здорово (франц.).

ной энтузиазмом. Это страстное желание часто вводило меня в заблуждение. Я воображал себя либералом, социалистом, пацифистом, но в истинном смысле не был ни тем, ни другим, ни третьим. Скептик-интеллектуал в самый неподходящий момент нашептывал мне слова сомнения, которые отчуждали меня от беспечного энтузиазма других людей и ввергали в беспросветное одиночество. Во время войны, когда я сотрудничал с квакерами, непротивленцами и социалистами и готов был разделить с ними все огорчения, которые приносит обнародование непопулярных мнений, я говорил квакерам, что, по моему убеждению, большинство войн в истории человечества оправдано, а социалистам — что мне ненавистна тирания государства. На меня смотрели косо и те и другие и, хотя принимали мою помощь, чуяли во мне чужака. Все, чем я занимался еще в ранней юности, все мои удовольствия были отравлены горечью одиночества. Пожалуй, мне удавалось бежать от него в минуты любви, но по зрелом размышлении я понял, что то была лишь иллюзия бегства. Я не знал ни одной женщины, для которой доводы разума были бы столь же непререкаемы, как для меня, и всякий раз, когда они ставились на карту, я убеждался, что возжеленное единомыслие в любви недостижимо. То, что Спиноза назвал «интеллектуальной любовью к Богу», представлялось мне самой желанной путеводной нитью, но в моей душе не было ничего даже отдаленно напоминавшего хотя бы абстрактного Бога, которого позволил себе признать Спиноза и которому я мог бы отдать свою любовь. Я любил призрак, и в любви к призраку призрачной становилась моя собственная личность. Я скрыл ее под маской воодушевления, нежности и радости жизни. Но мои глубинные чувства оставались неразделенными и не встречали сочувствия. Море, звезды, ночной ветер в пустошах значили для меня больше, чем самые любимые существа, и привязанность к человеку была для меня, в сущности, всего лишь попыткой восполнить отсутствующего Бога.

Война 1914–1918 годов все изменила. Я оставил ученые занятия и стал писать совсем другие книги. Изменилось мое представление о человеческой природе. Я впервые понял, что пуританизм не ставит целью счастье человека. Перед лицом смерти я обрел новую любовь к живому. Я понял, что большинство людей дают волю своим разрушительным импульсам из-за несчастий и только радость может построить более совершенный мир. Я увидел, что и реформаторы, и реакционеры подвержены жестокости, и усомнился в целях, которые требуют для своего достижения жесткой дисциплины. Находясь в оппозиции к самой идее общности, видя, как общественные добродетели используются для избиения немцев, трудно было не отказаться от морали в пользу веры. Меня спасло только глубокое сочувствие к мирским страданиям. Я потерял старых друзей и завел новых. Я познакомился с людьми, которыми восхищался, и первым среди них назвал бы Э. Д. Морела¹. Мы познакомились в первые дни войны и часто встречались, пока оба не оказались в тюрьме. У него была одна страсть — правдивое представление фактов. Начав с разоблачения бесчинств, творимых бельгийцами в Конго, он не мог принять миф о «маленькой отважной Бельгии». Внимательно изучив дипломатию французов и сэра Эдварда Грея в Марокко, он не мог считать немцев единственными виновниками войны. С неизбежной

1. Эдвард Морел (1873–1924) — английский пацифист.

энергией и бесстрашием — он был органически не способен пасовать перед трудностями, — он делал все, что было в его силах, чтобы открыть людям глаза на истинные причины, заставлявшие правительство посылать молодых людей на бойню. Чаше других противников войны подвергался он нападкам политиков и прессы, как и тех слепцов, которые под влиянием пропаганды наивно верили, что он находится на содержании у кайзера. В конце концов его отправили за решетку, предъявив смехотворное обвинение: за использование секретарши для ведения частной переписки. На самом деле он послал письмо и какие-то документы Ромену Роллану. В отличие от меня он не попал в привилегированную первую категорию, и тюрьма подорвала его здоровье на всю оставшуюся жизнь. Несмотря ни на что, мужество никогда ему не изменяло. Он часто засиживался до глубокой ночи ради Рамсея Макдональда, который зачастую вел себя как последний трус, но когда Макдональду выпала честь формировать правительство, он и не подумал включить в него “германофила” Морела. Морела глубоко ранила его неблагодарность, и вскоре он умер от болезни сердца, которую получил в тюрьме.

Несмотря на расхождения во взглядах, среди квакеров были люди, которые вызывали у меня искреннее восхищение. Могу назвать казначея Антимобилизационного комитета мистера Грабба. Когда мы впервые встретились, это был старик семидесяти лет, очень тихий, всегда державшийся в тени, малоподвижный, сдержанный. Без лишних слов и видимых эмоций он выступал в защиту молодых людей, томящихся в тюрьме, мало заботясь о собственной безопасности. Мой брат находился в зале суда, когда Грабба вместе с группой единомышленников приговорили к тюремному заключению за пацифистские публикации. Брат, не принадлежавший к пацифистскому движению, был потрясен силой характера и цельностью этого человека. Фрэнк сидел рядом с общественным обвинителем Мэттьюзом, своим другом. Когда тот сел, проведя перекрестный допрос мистера Грабба, брат шепнул ему: “Признаться, Мэттьюз, роль Торквемады тебе не к лицу!” Эта реплика так разозлила Мэттьюза, что он перестал разговаривать с Фрэнком.

Одним из самых забавных случаев, имевших ко мне непосредственное отношение, был вызов в министерство обороны. Вкрадчивые чиновники умоляли меня не терять чувства юмора, ибо, по их мнению, человек с чувством юмора не станет высказываться в пользу непопулярных мнений. Однако их увещевания пропали втуне, а я потом пожалел, что не сказал им, как помирал со смеху каждое утро, читая в газетах о военных потерях.

Когда война кончилась, стало очевидно, что все сделанное мною не принесло никакой пользы никому, кроме меня. Я не спас ни единой жизни и ни на минуту не приблизил конец войны. Не смог сделать ничего такого, что смягчило бы последствия Версальского договора. Однако, как бы то ни было, я не сделался соучастником преступлений воюющих стран, а сам обрел новую философию и новую молодость. Я избавился от резонерства и от пуританства. Выучился понимать язык инстинктов, которым ранее не владел, и отчасти вознаградил себя за годы одиночества. Во время перемирия многие возлагали большие надежды на Вильсона. Другие искали вдохновляющий пример в большевистской России. Обнаружив, что не могу черпать оптимизм ни в том, ни в другом источнике, я тем не менее не впал в отчаяние. Я считал, что худшее еще впе-

реди, но это не лишило меня веры в то, что мужчины и женщины в конце концов откроют для себя простую тайну естественных радостей. <...>

Россия

[187]

ИЛ 12/2000

Окончание войны помогло мне избежать неприятностей, которые в противном случае не миновали бы меня. В 1918 году подняли призывной возраст, и я подлежал мобилизации, чему, конечно, никак не мог подчиниться. Меня вызвали на медицинскую комиссию, но, несмотря на все усилия, не смогли вручить мне повестку: правительственные чиновники забыли, что упустили меня в тюрьму. Если бы война еще продлилась, я вскоре опять попал бы туда как узник совести. С финансовой точки зрения конец войны оказался также крайне для меня благоприятным. Я спокойно тратил наследственные деньги, когда работал над "Principia Mathematica". Но совесть не позволяла мне жить на капитал, полученный после смерти бабушки, и я подарил его Кембриджскому университету, Ньюем-колледжу и прочим образовательным заведениям. Избавившись от ценных бумаг, которые я отдал Элиоту, я остался примерно с сотней фунтов ежегодно поступающих незаработанных денег — согласно брачному договору, этот минимум я уже никому не мог передать. Все это меня не пугало, поскольку я научился зарабатывать деньги книгами. Правда, в тюрьме мне разрешалось писать только о математике, а не о том, на чем можно было бы заработать. Так что, выйдя из тюрьмы, я оказался бы без единого пенни в кармане, если бы Сэнгер и некоторые другие друзья не устроили для меня лекции в Лондоне. С окончанием войны я опять мог зарабатывать писательством и уже не испытывал материальных затруднений, если не считать пребывания в Америке.

С концом войны изменились и наши отношения с Колетт. Во время войны нас многое объединяло, нас связывали общие и очень сильные переживания, но потом все осложнилось, отношения стали напряженными. Мы то и дело расставались, как казалось, навсегда, но каждый раз разлука бывала временной. В течение трех летних месяцев 1919 года мы с математиком Литтлвудом арендовали фермерский дом на холме в миле от Лалуорта. В доме было много комнат, и все лето к нам наезжали толпы гостей. Это очень красивая местность на берегу моря. Кроме отличного купания тамошние края предоставляли Литтлвуду возможность демонстрировать искусство скалолазания, в котором он был очень силен. Я тем временем начал присматриваться к своей будущей второй жене. Нас познакомила в 1916 году ее подруга Дороти Ринч, моя бывшая ученица в Гертоне. Летом 1916-го она организовала двухдневную вылазку, в которой приняли участие Дора Блэк, Жан Нико, я и она. Жан Нико — молодой французский философ, тоже мой ученик, не попавший на войну из-за туберкулеза (который и свел его в могилу в 1924 году). Это был один из самых обаятельных людей, которых я когда-либо знал, человек большого благородства и великого ума. К тому же он обладал особенным чувством юмора, чрезвычайно меня забавлявшим. Как-то в разговоре с ним я заметил, что профессиональным философам следует не только овладевать университетской наукой и теориями, которые создали их предшественники, но и попытаться понять окружающий мир. "Вы

правы, — ответил он, — только эти теории гораздо интереснее, чем окружающий мир”. Незнакомая мне прежде Дора Блэк сразу привлекла мое внимание. Вечер мы провели в Шере, и чтобы заполнить послеобеденное время, я задал каждому вопрос, чего бы им больше всего хотелось в жизни. Не помню, что ответили Дороти и Жан; сам я сказал, что хотел бы исчезнуть, как герой “Похороненного заживо” Арнольда Беннета, при условии, что, как и он, найду какую-нибудь вдовушку. К моему удивлению, Дора ответила, что хотела бы выйти замуж и иметь детей. До той минуты я полагал, что ни одна молодая интеллектуалка не признается в столь простом желании, из чего заключил, что эта девушка, должно быть, исключительно искренна. В отличие от прочих в нашей компании она в то время не была ярой противницей войны.

В июне 1919 года по предложению Дороти Ринч я пригласил Дору на чай к нам с Алленом, с которым мы делили тогда квартиру в Баттерси. Она пришла, и мы ввязались в жаркий спор по поводу отцовских прав. Она заявила, что, будь у нее дети, считала бы их только своими, не признавая никаких притязаний со стороны отца. Я пылко возразил: “Ну, тогда, если я когда-нибудь заведу детей, то не от вас!” В результате следующим вечером мы вместе обедали и к концу обеда договорились, что она придет погостить в Лалуорт. В тот день я в очередной раз — и самым решительным образом — расстался с Колетт, полагая, что никогда более не увижусь с ней. Однако на следующий же день после нашего с Литтлвудом приезда в Лалуорт получил от Колетт телеграмму, гласившую, что, понапрасну прождав поезда несколько часов, она направляется к нам в наемном автомобиле. К счастью, Дора на несколько дней припозднилась, но вообще все лето мне пришлось тщательно следить за тем, чтобы их визиты не совпадали.

Вышесказанное было написано мною в 1931 году, а в 1949-м я показал это Колетт. Колетт прислала мне в ответ два моих письма, которые я ей отправил в 1919-м, из них явствовало, как много я забыл. Прочтя их, я припомнил, что в то время в Лалуорте мои чувства резко менялись в зависимости от перемен в поведении Колетт. Она поочередно впадала в одно из трех состояний: страстной преданности, холодной решимости расстаться навеки и пассивного безразличия. Каждое из этих настроений отдавалось во мне эхом, причем резонанс на самом деле был гораздо сильнее, чем мне по прошествии лет помнилось. Наши письма свидетельствовали о ненадежности памяти, когда дело касается чувств. Обе женщины знали о существовании друг друга, но деликатность удерживала нас от окончательного выяснения отношений. Мы с Дорой стали любовниками сразу по ее прибытии в Лалуорт, и каждый ее приезд доставлял мне огромную радость. Размолвки с Колетт объяснялись ее нежеланием иметь детей: я понимал, что если уж заводить детей, то откладывать нельзя. Дора как раз хотела иметь детей, не важно — в браке или нет, и мы с самого начала не предохранялись. Она была слегка разочарована тем, что наши отношения почти сразу приобрели характер супружеских, а когда я сказал, что рад был бы получить развод и жениться на ней, она ударилась в слезы, поскольку это предвещало конец нашей независимости и беззаботности. Но наши взаимные чувства были столь прочными, что исключали всякие другие увлечения. Те, кто знал ее только с деловой стороны, вряд ли поверили бы, как она очаровательна, когда на ее плечи не давит груз ответственности. Во время купаний при лу-

не или когда она бежала босиком по росистой траве, мне точно так же хотелось быть отцом ее детей, как и во время серьезных бесед.

Дни в Лалуорте текли в приятных забавах, главным образом в купании и беседах. В то время общая теория относительности была еще в новинку. И мы с Литтлвудом бесконечно ее обсуждали. Мы, к примеру, спорили о том, является ли расстояние от нашего дома до почты таким же, как от почты до нашего дома, или же нет, и никогда не приходили к единому мнению. Наблюдения во время случившегося тогда солнечного затмения подтвердили предположение Эйнштейна относительно отклонения светового луча, и Литтлвуду прислали телеграмму из Эддингтона, где говорилось: Эйнштейн сказал, что так и должно было быть.

Как всегда бывает, когда группа хорошо знакомых между собой людей собирается за городом, у нас появились свои шутки, которых не понимали непосвященные. Порой эти шутки были довольно рискованными. В нашу компанию как-то попала некая миссис Фиск Уоррен, с которой я познакомился в Бэгли-вуд, богатая, красивая, умная, хорошо образованная. Появление на мировой арене “великих” модернистов — во многом результат ее поддержки, которую она не афишировала. Тщательно отобранные преподаватели обучали ее античной философии, не требуя знания древнегреческого языка. Эта дама обладала даром мистического постижения и обожала Уильяма Блейка. Я гостил в ее загородном доме в Массачусетсе в 1914 году и смог по достоинству оценить его редкостную атмосферу. Ее муж, с которым я в ту пору не встречался, был ревностным пропагандистом единого налога и прокладывал дорожку в малые страны, вроде Андорры, с перспективой воплощения на практике принципов Генри Джорджа. Когда мы были в Лалуорте, она прислала мне книгу своих стихов и книгу мужа, посвященную его любимой теме. Одновременно пришло и его письмо из Лондона, где он писал, что хочет со мной встретиться. Я ответил, что это невозможно, поскольку я не в Лондоне. Он телеграфировал, что готов приехать в понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу, в любой удобный для меня день, хотя ему придется выехать из Лондона в шесть утра. Я выбрал пятницу и принялся лихорадочно перелистывать книгу стихов его жены. Нашел стихотворение под названием “Тому, кто спит рядом со мной”, а в нем строчку: “Твое искусство наполнено мясом и вином этого мира”. Прочел стихотворение компании и позвал экономку, чтобы заказать обильную трапезу и много вышивки. Муж миссис Фиск Уоррен оказался худым, аскетичным, беспокойным субъектом, не желавшим тратить время на шутки и легкомысленные занятия. Когда мы все собрались за ланчем и я стал угощать его и предлагать напитки, он печально сказал: “Нет, спасибо. Я вегетарианец, а вина вообще не пью”. Чтобы замаять неловкость, Литтлвуд для виду отпустил какую-то шутку, ответом был наш дружный смех, о причине которого гость, конечно, и не догадывался.

Лето, море, природа и хорошая компания плюс любовь и начало мирного времени — чего еще можно было желать! В конце лета я вернулся в квартиру Клиффорда Аллена в Баттерси, а Дора в качестве научно-го сотрудника Гертон-колледжа поехала в Париж продолжать свои исследования по зарождению французского вольнодумства XVII–XVIII веков. Мы иногда виделись то в Лондоне, то в Париже. Я все еще встречался с Колетт и пребывал в нерешительности.

На Рождество мы с Дорой встретились в Гааге, куда я приехал повидаться с моим другом Витгенштейном. Впервые я познакомился с Витгенштейном в Кембридже перед войной. Он австриец, отец его был очень богат. Витгенштейн собирался стать инженером и с этой целью отправился в Манчестер. Заинтересовавшись математикой, он начал наводить в Манчестере справки, кто занимается этим предметом. Кто-то упомянул мое имя, и Витгенштейн переселился в Тринити-колледж. Витгенштейн — идеальный пример гения в традиционном смысле слова: страстный, глубокий, неутомимый и властный. Человек необыкновенной чистоты, сравнить его можно разве что с Джорджем Муром. Помню, я как-то взял его с собой на заседание Аристотелевского общества, где собралось много дураков, которым я старался не показывать, что о них на самом деле думаю. По дороге домой он яростно клеймил меня за двоедушие; по его мнению, я должен был сказать им, что они такое. Бурная жизнь Витгенштейна изобиловала всяческими невзгодами, но сила его духа была необыкновенной. Он питался молоком и овощами, и я, бывало, думал о нем словами миссис Патрик Кэмпбелл, которая сказала о Шоу: “Помилуй нас Боже, ежели он как-нибудь съест кусок мяса”. Витгенштейн приходил ко мне каждый вечер ближе к полуночи, три часа молча мерил шагами комнату, как дикий зверь. Однажды я спросил его: “Вы размышляете о логике или о собственных грехах?” — “О том и о другом”, — ответил он, продолжая шагать. Я боялся сказать ему, что пора спать, потому что и мне и ему было ясно: уйдя из моего дома, он совершит самоубийство. В конце своего первого семестра в Тринити он пришел ко мне с вопросом: “Как вы думаете, я полный идиот?” — “А зачем вам это знать?” — спросил я. Он ответил: “Если я идиот, то стану авиатором, а если нет, буду философом”. Я сказал: “Дорогой друг, не знаю, полный вы идиот или нет, но если на каникулах вы напишете эссе на любую интересующую вас философскую тему, я прочту и дам ответ”. Он так и сделал, принес мне свою работу к началу следующего семестра. Прочитав первое предложение, я понял, что он гений, и уверил его, что становиться авиатором ему ни в коем случае не следует. В начале 1914 года он пришел ко мне чрезвычайно возбужденный и сообщил: “Я уезжаю из Кембриджа, уезжаю сейчас же”. — “почему?” — “Потому что муж моей сестры переехал в Лондон, а я не смогу жить рядом с ним”. Остаток зимы он провел на севере Норвегии. Еще в начале нашего знакомства я спросил у Джорджа Мура, что он думает о Витгенштейне. “Я о нем очень высокого мнения”, — сказал он и на мой вопрос “почему?” ответил: “Потому что он единственный человек, который на моих лекциях выглядит озадаченным”.

Когда началась война, Витгенштейн, большой патриот, пошел офицером в австрийскую армию. Первые несколько месяцев можно было писать ему, и он отвечал, а потом переписка прервалась, и я долгое время ничего о нем не слышал, пока через месяц после заключения перемирия не получил от него письмо из Монте-Кассино, в котором сообщалось, что через несколько дней после перемирия он был взят в плен итальянцами, к счастью, вместе со своей рукописью. Оказалось, что в окопах он написал книгу и хотел, чтобы я ее прочитал. Он был из той породы людей, которые не замечают такой малости, как разрывы снарядов, если размышляют над логическими проблемами. Он прислал мне рукопись, которую мы обсуждали в Лалуорте с Дороти Ринч и Нико. Это

была книга, опубликованная впоследствии под названием “Логико-философский трактат”. Очень важно было встретиться с ним и обсудить ее. Лучше всего в какой-нибудь нейтральной стране. Мы договорились встретиться в Гааге. Но тут возникло неожиданное препятствие. Накануне войны отец Витгенштейна перевел весь капитал в Голландию, так что в конце войны был так же богат, как и до нее. Как раз во время заключения перемирия отец умер, и Витгенштейн унаследовал все его богатство. Однако он придерживался мнения, что деньги для философа — обуза, и все отдал брату и сестрам. В результате ему нечем было оплатить дорогу от Вены до Гааги, а он был слишком горд, чтобы принять деньги от меня. Наконец решение нашлось. В Кембридже оставались его книги и мебель, и Витгенштейн изъявил желание продать их мне. Я последовал совету агента по продаже мебели, в чьем ведении находились эти вещи, и купил все за предложенную цену. Реальная стоимость была намного выше, так что то была самая выгодная сделка, которую я когда-либо заключал. Благодаря этому Витгенштейн смог добраться до Гааги, где мы провели неделю, обсуждая его книгу строка за строкой, пока Дора ходила в Публичную библиотеку читать речи Сальмазия¹ против Мильтона.

Витгенштейн был не только логиком, но еще и патриотом и пацифистом. Он придерживался очень высокого мнения о русских, с которыми брался на фронте. Он рассказывал, как однажды в галицийской деревушке от нечего делать набрел на книжную лавку, а в ней была одна-единственная книга — размышления Толстого о Евангелии. Он купил ее, прочел, и она оказала на него глубокое действие. На какое-то время он сделался весьма религиозным, ему даже казалось недостойным общаться со мной. Чтобы заработать на жизнь, Витгенштейн уехал учительствовать в начальной школе в австрийской деревне Траттенбах. Он, бывало, писал мне оттуда: “Жители Траттенбаха безнравственны”. Я отвечал: “Все люди безнравственны”. В ответ он писал: “Это правда, но жители Траттенбаха безнравственны более других”. Я отвечал, что такое заявление противно логике. Но у него было оправдание: крестьяне отказывались снабжать его молоком, считая, что арифметика, которой он учит их детей, не имеет никакого отношения к деньгам и материальным расчетам. Он, должно быть, страдал от голода и лишений, но из его уст почти никогда не срывалось ни слова жалобы, он обладал дьявольской гордыней. Его сестре пришла в голову удачная мысль начать строительство дома и нанять его в качестве архитектора. Это обеспечило ему несколько лет безбедного существования, а потом он поступил преподавателем в Кембридж, где сын Клайва Белла² сочинял на него эпиграммы. Он не умел общаться с людьми. Уайтхед так описывал первый визит к нему Витгенштейна: его проводили в гостиную, где семья пила чай; не заметив присутствия миссис Уайтхед, он некоторое время молча шагал из угла в угол, а потом его как провало: “Пропозиция имеет два полюса. Это *арб*”. “Я, — рассказывал Уайтхед, — естественно, спросил, что такое *a* и *b*, но осекся, поняв, что сказал глупость. “*A* и *b* не определяются”, — громовым голосом возгласил Витгенштейн”.

1. Сомэз (1588—1653) — французский гуманист и полиглот, именовавшийся на латинский манер Сальмазием; автор трактата “Защита короля Карла I”, на который Мильтон ответил “Защитой английского народа” и другими трактатами.

2. Клайв Белл (1881—1964) — искусствовед, литературный критик, член “группы Блумсбери”.

Как у всех великих людей, у него были свои слабости. В 1922 году, в самый разгар его мистического вдохновения, когда он со всей серьезностью уверял меня, что лучше быть добрым, нежели умным, выяснилось, что он до ужаса боится ос и клопов и не может из-за них остаться на еще одну ночь в гостинице, которую мы сняли в Инсбруке. После путешествия по России и Китаю я приобрел иммунитет против такого рода неудобств, но в данном случае все доводы были бессильны. Если не считать этих маленьких фобий, он был личностью совершенно необыкновенной.

Почти весь 1920 год я провел в поездках. На Пасху меня пригласили с лекциями в Барселону, в Каталонский университет. Из Барселоны я поехал на Майорку, где остановился в гостинице Соллера. Старый хозяин гостиницы (единственной в этой местности) объявил, что поскольку он вдовец, то готовить еду не сможет, зато мне позволено в любое время срывать в саду апельсины. Он сказал это с таким величественным видом, что мне ничего не оставалось, как выразить глубочайшую признательность. На Майорке у меня началась великая распря с Дорой, не прекращавшаяся много месяцев на всех широтах и долготах.

Я планировал отправиться в Россию, и Дора собиралась ехать со мной. На мой взгляд, ехать ей туда смысла не было, поскольку она не проявляла особого интереса к политике, тем более что поездка могла оказаться довольно рискованной из-за свирепствовавшего в стране тифа. Но мы оба были неуступчивы, и компромисс был недостижим. До сих пор считаю, что прав был я, а она думает, что права была она.

Вскоре после возвращения с Майорки выдался случай ехать в Россию. Туда отправлялась делегация лейбористов, которые пожелали, чтобы я отправился вместе с ними. Правительство рассмотрело мое заявление, и после беседы у Г. Л. Фишера¹ мне разрешили присоединиться к ним. Договориться с советским правительством было гораздо труднее, и когда я уже добрался до Стокгольма, Литвинов все еще отказывал мне в разрешении на въезд, несмотря на то что мы сидели вместе в тюрьме Брикстон. Наконец все недоразумения с советским правительством были улажены. Компания у нас подобралась забавная. Миссис Сноуден, Клиффорд Аллен, Роберт Уильямс, Том Шоу, невероятно толстый и старый трейд-юнионист по имени Бен Тернер, совершенно беспомощный без жены и просивший Клиффорда Аллена снимать ему ботинки, Хейден Гест, сопровождавший делегацию как врач, и еще несколько профсоюзных чиновников. В Петрограде, где в наше распоряжение предоставили императорский автомобиль, миссис Сноуден, сидя за рулем, восхищалась его роскошью и выражала сочувствие "бедному царю". Она и Хейден Гест, теософ с пылким темпераментом и непомерным либидо, были настроены антибольшевистски. Роберт Уильямс чувствовал себя в России абсолютно счастливым; он был, пожалуй, единственным, кто произносил речи во славу советского правительства. Он все время твердил, что в Европе назревает революция, и Советы воспользовались его услугами. Я предупреждал Ленина, что Уильямсу нельзя верить. На следующий год, в Черную пятницу², он сбежал. Еще с нами был Чарли Бак-

1. Гербер Альфред Фишер (1865—1940) — английский историк и государственный деятель.

2. "Черная пятница" — пятница 15 апреля 1921 г., день срыва забастовки солидарности английских горняков, против которых были брошены правительственные войска.

стон, который через пацифизм пришел к квакерству. Когда мы жили в одном номере, он прерывал меня на полуслове, чтобы сотворить молчаливую молитву. К моему удивлению, пацифизм не привел его к осуждению большевиков.

Для меня время, проведенное в России, превратилось в постепенно усиливавшийся кошмар. Я предал бумаге свои размышления, в которых, на мой взгляд, отразилась правда, но не тот ужас, который владел мною там. Жестокость, бедность, подозрительность, преследования наполняли самый воздух, которым мы дышали. Наши разговоры постоянно прослушивались. Ночи оглашались выстрелами — это убивали в тюрьмах несчастных идеалистов. Все было пропитано лицемерием, люди называли друг друга “товарищ”, но как по-разному звучало это слово применительно, скажем, к Ленину или ленивому официанту! Как-то в Петрограде (так назывался в ту пору этот город) ко мне явилась четверка одетых в лохмотья людей, заросших щетиной, с грязными ногтями, спутанными волосами. То были самые известные поэты России. Одному из них позволили зарабатывать на жизнь чтением лекций по стихосложению, если он будет освещать предмет с марксистских позиций, и он жаловался, что хоть убей не может понять, при чем тут Маркс.

Другие оборванцы, с которыми я встретился, были членами Петроградского математического общества. Я присутствовал на одном из заседаний этого Общества, слушал доклад по неевклидовой геометрии. Я ничего не мог понять, кроме формул, записанных на доске, но, судя по ним, это был вполне компетентный доклад. В Англии я никогда не видел таких униженных и жалких бродяг, как петроградские математики. Мне не разрешили встретиться с Кропоткиным, а вскоре он умер. Представители правящего класса выглядели не менее самоуверенно, чем выпускники Итона или Оксфорда. Они были убеждены, что с помощью своей формулы счастья решат все проблемы. Те, что были поумнее, понимали, что это не так, но не осмеливались говорить вслух. Однажды в конфиденциальной беседе врач по фамилии Залкинд стал говорить, что климат оказывает большое влияние на характер, но вдруг осекся и сказал: “Это, конечно, не так. На характер воздействуют только экономические условия”. На моих глазах все, что представлялось мне ценным в человеческой жизни, разрушалось в интересах узколобой философии, которую вдальбливали в ум многомиллионного народа, живущего в нищете, о которой запрещалось говорить. С каждым днем, проведенным в России, ужас мой усиливался, в конце концов я потерял всякую способность к объективному суждению.

Из Петрограда мы поехали в Москву, это очень красивый город и благодаря ориентальным мотивам архитектурно более интересный, чем Петроград. Меня ставила в тупик изобретательность большевиков, одержимых идеей массового производства. Главная трапеза, начинавшаяся около четырех часов, включала помимо прочего рыбы головы. Мне так и не удалось узнать, куда же девались рыбы тушки, предполагаю, что их съедали народные комиссары. Москва-река кишела рыбой, но ловить ее на удочку не позволялось, поскольку еще не было придумано более современного способа ловли. Город почти умирал с голоду, а кормить народ продолжали рыбными головами, выловленными с помощью траулеров, потому что тушки пришлось бы добывать примитивным образом.

Когда мы плыли на пароходе по Волге, Клиффорд Аллен заболел острой пневмонией, которая вызвала обострение туберкулеза. Мы следовали до Саратова, но Аллен был так плох, что его нельзя было снимать с парохода, поэтому Хейден Гест, миссис Сноуден и я оставались на борту до самой Астрахани. Каюта у него была очень тесная, а жара стояла невыносимая. Иллюминаторы приходилось держать плотно задраенными из-за малярийных комаров, к тому же Аллен страдал от жестокой диареи. Мы ухаживали за ним посменно, и хотя на пароходе была русская медсестра, она отказывалась сидеть при нем по ночам, опасаясь, что он умрет и ее схватит дух мертвеца.

Астрахань я могу сравнить только с адом. Воду для городских нужд брали в той части реки, куда суда сбрасывали отходы. На улицах стояли лужи, где размножались миллионы комаров; ежегодно треть жителей болела малярией. Канализационной системы не было вовсе, и на видном месте в центре города возвышалась гора экскрементов. Чума приобрела эпидемический масштаб. Недавно, во время гражданской войны, здесь проходили бои с войсками Деникина. Мух было столько, что во время еды блюда накрывали салфетками, надо было быстренько сунуть руку под салфетку, схватить кусок и молниеносно отправить в рот. Сама салфетка моментально становилась черной от мух. Город располагается в основном ниже уровня моря, и температура достигала пятидесяти градусов по Цельсию. Местным врачам советские начальники велели внимательно выслушать все, что скажет Хейден Гест насчет борьбы с малярией. Как специалист-эпидемиолог он работал в расположении британской армии в Палестине. Он прочитал замечательную лекцию, по завершении которой астраханцы сказали: "Да, все это мы тоже знаем, но здесь слишком жарко". Подозреваю, что подобные высказывания могли стоить докторам жизни, но в данном случае об их дальнейшей судьбе мне ничего неизвестно. Самый авторитетный из них обследовал Клиффорда Аллена и сказал, что тот вряд ли протянет и несколько дней. Когда спустя полмесяца его обследовал доктор уже в Ревеле и сказал то же самое, я уже знал, как сильна у Аллена воля к жизни, и не так испугался. Он прожил еще много лет и стал украшением палаты лордов.

По возвращении в Англию я попытался выразить свое мнение, значительно изменившееся за время поездки, в виде писем к Колетт, соответственно изменив даты. Последнее из них я потом опубликовал в книге о Китае. Поскольку там гораздо точнее отражаются мои тогдашние впечатления, чем я мог бы обрисовать их сейчас, я и помещаю их здесь.

24 апреля 1920 г.

Лондон

Приближается день моего отъезда. Надо переделать тысячу дел, а я сижу и предаюсь бесплодным размышлениям, бесполезным, мятельным размышлениям, которым никогда не предаются здравомыслящие люди, размышлениям, которые надо вытеснять работой, но вместо этого сами вытесняют работу. Завидую тем, кто всегда верит в то, во что верит, кого не беспокоит равнодушие к тому, что выходит за рамки собственной частной жизни. Я притязал на то, чтобы приносить пользу другим, чтобы достичь каких-то значительных результатов, чтобы дать людям новую надежду. И теперь, когда цель близка, все это кажется мне прахом и тленом. Когда я смотрю в будущее, мой разочарованный взгляд видит лишь борьбу, одну лишь борьбу, растущую жестокость, тиранию, террор

и рабскую покорность. Человечество моей мечты – гордые, бесстрашные, благородные люди – придут ли они когда-нибудь на нашу землю? Или они обречены воевать, убивать, мучить друг друга до конца времен, пока земля не остынет и затухающее солнце не перестанет согревать их бессмысленное исступление? Не знаю. Ощущаю лишь отчаяние. Я познал беспросветное одиночество, идя путем земли, как призрак, голос которого никто не слышит, блуждая, как пришелец с другой планеты.

Нет конца вечной вражде, вражде между маленькими радостями и великой болью. Я знаю, что маленькие радости – это смерть, и все же – я так устал, я так сильно устал. Во мне не на жизнь, а на смерть борются разум и чувство, отнимая всю мою энергию, которую я мог бы потратить в своих целях. Я знаю, что без борьбы не достичь ничего стоящего, ничего не достичь без жестокости, организованности и дисциплины. Я знаю, что ради коллективного действия индивид должен быть превращен в механизм. И хотя разум понуждает в это верить, меня это не вдохновляет. Я люблю отдельную человеческую душу – в ее одиночестве, в ее надеждах и страхах, внезапных порывах и странных привязанностях. Как далеко от нее до армий, государств и чиновников; но проделать этот путь – единственный способ избежать бесполезной чувствительности.

В суровые годы войны я мечтал о счастливом дне, когда она кончится, когда мы сядем с тобой в солнечном саду у Средиземного моря, наполненном ароматом гелиотропа, окруженном кипарисами и священными падубовыми рощами, – и тогда, наконец, я смогу сказать тебе о моей любви и прикоснуться к радости столь же настоящей, как и боль. Это время пришло, но у меня другие дела, а у тебя иные желания; и когда я сижу, погруженный в свои мысли, все дела кажутся мне тщетными, а все желания бессмысленными.

И это не подвигает меня к действиям.

12 мая 1920 г.

Петроград

Наконец я здесь, в городе, который открыл миру новую страницу истории, разжег самую смертельную ненависть и самые безумные надежды. Откроет ли он мне свою тайну? Узнаю ли я его сокровенную душу? Или получу только статистические данные и голые факты? Пойму ли я то, что увижу, или все это останется для меня странным и непонятным спектаклем? Глухой ночью мы вышли на пустой станции, и наш автомобиль загрохотал по спящим улицам. Из окна гостиницы я смотрел через Неву на Петропавловскую крепость. Река тускло блестела в свете северной зари; нельзя выразить словами, как прекрасен был вид, как наполнен чарами волшебной вечной мудрости. “Чудесно”, – сказал я стоявшему рядом большевику. “Да”, – отозвался он. – Теперь в Петропавловке не тюрьма, а Генеральный штаб”.

Я встряхнулся. “Приди в себя, дружище, – мысленно сказал я себе, – ты тут не турист, и не дело млеть от рассветов, закатов и достопримечательностей, отмеченных в путеводителе; ты здесь для того, чтобы провести социальное исследование, изучить экономику и политику. Очнись от грез, забудь о вечности. Люди, к которым ты приехал, назвали бы все это буржуазными фантазиями бездельника, и положила руку на сердце ты мог бы с ними согласиться”. И я вступил в разговор, пытаясь выяснить, как купить зонт в советском магазине, что оказалось столь же непостижимо, как ускользающая суть последних тайн бытия.

Двенадцать часов, которые я уже потратил на разгадки русской души, дали пока лишь повод для иронии. Я был готов к материальным трудностям, неудобствам, грязи и голоду, которые, я полагал, должно скрасить ощущение великой надежды. Наши товарищи-коммунисты, без сомнения правомерно, сочли за лучшее избавить нас от лишений. Не успели мы вчера после обеда пересечь границу, как нам уже устроили два банкета, накормили хорошим завтраком, угостили первоклассными сигарами, а ночь я провел в огромной дворцовой спальне, сохранившей всю старорежимную роскошь. На всем пути следования наш вагон тщательно отделяли от толпы цепью солдат. Кажется, меня погрузили в великолепие огромной военной империи. Так что надо перенастроиться. Для этого нужен цинизм, а у меня его маловато. В результате я задаю себе один и тот же вопрос: в чем тайна этой раздираемой страстями страны? Ведома ли она большевикам? Догадываются ли они вообще о существовании такой тайны? Сомневаюсь.

13 мая 1920 г.

Петроград

Я попал в странный мир, мир умиряющей красоты и тяжелой жизни. Меня все время тревожат фундаментальные вопросы, страшные, неразрешимые вопросы, которые никогда не задают себе мудрые люди. Пустые дворцы и переполненные столовые, разрушенное или музифицированное в музеях бывшее великолепие и наряду с этим – распалзавшаяся по городу (благодаря вернувшимся беженцам) самоуверенная американизация. Все систематизируется, все должно быть организовано и справедливо распределено. Одно и то же образование для всех, одно и то же жилье, одни и те же книги и одна на всех вера в то, что происходящее совершенно: для зависти нет места, разве что к счастливым жертвам несправедливости, живущим за границей.

Потом я пытаюсь взглянуть на то же самое с точки зрения оппонента. Вспоминаю “Преступление и наказание” Достоевского, “В людях” Горького, “Воскресение” Толстого. Думаю о жестокости и разрушениях, на которых было построено бывшее великолепие; о бедности, пьянстве, проституции, прожитых впустую жизнях; думаю о поборниках свободы, томившихся в Петропавловской крепости; вспоминаю убийства, погромы, избиения. Через ненависть к прошлому я становлюсь терпимее к новому, но не могу возлюбить это новое ради него самого.

И все же я виню себя за то, что не могу его полюбить. В нем проявились обычные для всего нового свойства – безобразие, брутальность, но в то же время – энергия созидания и вера в истинную ценность творимого. Когда создаешь механизм общественной жизни, некогда задумываться о чем-либо ином. Когда же новое общество будет в основном построено, появится время задуматься о том, как вдохнуть в него душу, – так я, по крайней мере, считаю. “У нас нет времени для нового искусства и новой религии”, – нетерпеливо говорили мне. Возникает, однако, вопрос: можно ли сперва создать тело и только потом вбрызнуть в него соответствующее количество души? Может быть, – но я как-то сомневался.

Я не нахожу никакого теоретического ответа на эти вопросы, зато на них яростно отвечают мои чувства. Я бесконечно несчастен в этой атмосфере – удручающей атмосфере примитивной целесообразности, безразличия к любви и красоте, к спонтанности жизни. Я не способен придавать такое значение примитивным нуждам, как здешние власти. Это несомненно связано с тем, что мне не пришлось провести в нужде и голоде полжизни, как им. Но разве нужда и голод и впрямь делают человека мудрее? Разве они помогают ему осознать идеалы,

которые должны вдохновлять каждого реформатора? Не могу избавиться от мысли, что они скорее сужают горизонт, чем раздвигают его. И все же червь сомнения грызет меня, и я разрываюсь между двумя ответами на этот вопрос...

2 июня 1920 г.

На Волге

[197]

ИЛ 12/2000

День за днем плывет наш пароход вдоль неизвестных таинственных берегов. Компания у нас шумная, веселая, задиристая, охотно изобретающая всяческие теории для объяснения всего и вся, уверенная в том, что нет ничего и ничего, что ей не под силу понять. Один из нас лжет, стоя одной ногой в могиле (Клиффорд Аллен), из последних сил сражаясь с собственной слабостью и равнодушием тех, кто в добром здравии, под денный и ночный аккомпанемент любовных воплей и смеха. А вокруг – великое безмолвие, необоримое, как Смерть, неисчерпаемое, как небо. Однако слушать это молчание всем недосуг, хотя оно так неотступно зовет меня, что я остаюсь глух к пропагандистским речам и бесконечной болтовне тех, кто в курсе всего на свете.

Прошлой ночью, очень поздно, наш пароход причалил к безлюдной пристани, где не было домов, только пустынный песчаный берег, а за ним – тополя и восходящая над ними луна. В молчании я сошел на берег и увидел на песке странное поселение – беженцев, спасающихся от голода. Каждое семейство со всеми своими пожитками молча сидело вокруг своего костерка, кто-то спал, кто-то бодрствовал. Неверное пламя освещало измученные бородатые лица одичавших мужчин, исполненные терпения примитивные лица женщин, по-взрослому медлительных ребятишек. Это, конечно, были человеческие существа, но мне было бы проще заговорить с собакой, кошкой или лошадью, чем с кем-нибудь из них. Я понял, что они просидят тут долгие дни, может быть недели, пока не придет пароход, который отвезет их туда, где, как они слышали – хотя информация вряд ли верна, – лежит земля добрее той, что им пришлось покинуть. Многие погибнут по дороге, они будут страдать от голода, жажды и палящего солнца, но никто не откликнется на их страдания. Для меня они олицетворяли самую душу России, безмолвную, пассивную в своем отчаянии, неслышную небольшой группе людей на Западе, создающих партии прогресса и реакции. Россия столь обширна, что те немногие, кто способен к самовыражению, теряются в ее просторах, как планета Земля в межзвездном пространстве. Мне казалось, что теоретики лишь увеличат несчастья большинства людей, заставляя их предпринимать действия, противные основным человеческим инстинктам, я не мог поверить, что большинство можно осчастливить, уповав на индустриализацию и принудительный труд.

Тем не менее, когда наступило утро, я вновь вступил в бесконечные дискуссии о материалистическом понимании истории и преимуществах подлинно народного правления. Те, с кем я все это обсуждал, не видели скитальцев на берегу, но даже если бы и видели, пренебрегли бы ими, ибо для пропаганды они не имели никакого значения. Однако что-то от их покорного молчания передалось и мне, что-то невыразимое вошло в мое сердце, несмотря на привычную и такую уютную интеллектуальную болтовню. В конце концов мне стало казаться, что политика – дьявольское наваждение, с помощью которого энергичные и быстрые умом мучают смиренные народы – ради кошелька, власти или науки. Пока мы путешествовали, подкрепляя себя пищей, отянутой у крестьян, под охраной солдат, набранных из их сыновей, я думал о том, что мы можем дать им взамен. И не нашел ответа. Время от времени я слышал их печальные песни, слушал зву-

ки балалайки; но звуки таяли в великом молчании степи, оставляя мне лишь грызущую безответную боль, рядом с которой тускнел луч случайной надежды.

[198]

ил 12/2000

Свердлов, министр транспорта (выражаясь по-нашему), сопровождавший нас в поездке по Волге, проявил чрезвычайную заботливость к Аллену. От Саратова до Ревеля мы проделали путь в вагоне, принадлежавшем царским дочерям, так что Аллену не пришлось сделать ни шагу. Судя по вагону, у царского семейства были странные привычки. Там находилась удобная софа с поднимающимся сиденьем, под которым были проделаны три отверстия для санитарных нужд. На пути домой, уже в Москве, мы яростно поспорили с Чичериным, который не разрешал Аллену уезжать из города, пока его не осмотрят два советских врача, причем сказал, что врачей сможет прислать только через два дня. В разгар нашей ссоры, на лестнице, я дал себе волю, потому что Чичерин был другом моего дяди Ролло и я возлагал на него большие надежды. Я кричал, что объявлю его убийцей. Нам, как и самому Аллену, казалось, что надо как можно скорее выбраться из России и любая задержка опасна для жизни. Наконец был достигнут компромисс: докторов вызвали сразу. Фамилия одного была Попов, фамилию другого я забыл. Советские чиновники считали, что Аллен к ним дружески расположен, а мы с Гестом и миссис Сноуден желаем ему смерти, чтобы лишить возможности свидетельствовать в их пользу.

В Ревеле я случайно познакомился с миссис Стэн Хардинг. Она направлялась в Россию преисполненная энтузиазма. Я как мог пытался развеять ее иллюзии относительно большевиков, но безуспешно. Едва она приехала, как ее засадили в тюрьму и держали там восемь месяцев. Освободили ее только благодаря настоятельным требованиям британского правительства. Вина за это лежала главным образом не на Советях, а на некой миссис Харрисон, богатой американке, которая плыла вместе с нами по Волге. Она явно была очень запугана и стремилась вырваться из России, но большевики держали ее под надзором. К ней приставили соглядатая по фамилии Аксенов, который занимался своим ремеслом еще при старом режиме; он следил за каждым ее шагом и прислушивался к каждому ее слову. У него была длинная борода, меланхоличное выражение лица, и он сочинял по-французски декадентские стишки — весьма изящные. В ночном поезде он ехал в том же купе, что и она; на пароходе, едва кто-нибудь начинал с ней разговор, он тут же подкрадывался и молча стоял рядом. Он умел замечательно подкрадываться. Мне было жаль бедняжку, а зря. Миссис Харрисон оказалась американской шпионкой, услугами которой пользовались и в Британии. Русские пронюхали, кто она такая, но сохранили ей жизнь — при условии, что она будет шпионить и в их пользу. Однако она саботировала, выдала их друзей, а врагам помогла бежать. Миссис Хардинг знала, что она шпионка, и американка постаралась от нее поскорее избавиться. Поэтому она выдала миссис Хардинг советским властям. Несмотря на все это, женщина она была очаровательная и ухаживала за Алленом гораздо более умело и самоотверженно, чем его старые друзья. Когда правда вышла наружу, Аллен упорно отказывался слышать о ней хоть одно худое слово.

Ленин, с которым я имел часовую беседу, меня разочаровал. Не то чтобы я прежде считал его великим человеком, но в ходе нашей беседы

я убедился в его ограниченности, узколобом понимании марксистской ортодоксии, а также заметил в нем нескрываемую озлобленность и жестокость. Об этом разговоре, так же как и вообще о своих приключениях в России, я рассказал в книге “Практика и теория большевизма”.

В то время из-за блокады России никакой почтовой и телеграфной связи с ней не было. Но как только мы приехали в Ревель, я послал Доре телеграмму. К моему удивлению, ответа не последовало. Из Стокгольма я телеграфировал ее друзьям в Париж, пытаясь выяснить, где она, и мне ответили, что в последний раз получили от нее весточку из Стокгольма. Я предположил, что она выехала навстречу мне, но, понапрасну прождав встречи целые сутки, случайно услышал от одного финна, что она отбыла в Россию через Нордкап. Я воспринял это как очередной ход в нашем затянувшемся споре о России и страшно разволновался, опасаясь, что ее посадят в тюрьму, поскольку цель ее приезда большевикам была неизвестна. Не в силах помочь делу, я вернулся в Англию, где пытался прийти в себя после шока, который испытал в России. Вскоре я стал получать письма от Доры, которые привозили из России друзья. К моему величайшему изумлению, Россия ей в такой же мере понравилась, в какой я ее возненавидел. Интересно, думал я, сможем ли мы когда-нибудь преодолеть наши разногласия? Между тем среди писем, дожидавшихся моего возвращения в Англию, было одно из Китая с приглашением приехать на год для чтения лекций. Приглашение последовало от Китайской лекционной ассоциации, озабоченной уровнем национального образования и принявшей решение импортировать по одному именитому иностранцу ежегодно. В прошлом году они приглашали доктора Дьюи¹. Я решил, что приму приглашение, только если Дора согласится со мной поехать, и никак иначе. Проблема заключалась в том, чтобы связаться с ней в условиях блокады. В Ревеле я познакомился с одним квакером, Артуром Уоттсом, который часто ездил в Россию, и я послал ему телеграмму, которая обошлась мне в несколько фунтов, где подробно объяснял обстоятельства дела, просил по возможности найти Дору и передать мое предложение. Мне повезло, идея сработала. Чтобы успеть к сроку, возвратиться ей следовало немедленно. Большевики поначалу решили, что это ловкий трюк с моей стороны, но в конце концов ей удалось уехать.

Мы встретились в воскресенье на Фенчерч-стрит и сначала держались отчужденно и недружелюбно. Она считала мои инвективы против большевиков сентиментальной буржуазной чужью. Я воспринимал ее любовь к ним с немим ужасом. Она познакомилась с людьми, которые, по ее мнению, во всех смыслах превосходили меня. Как и в годы войны, я искал утешения у Колетт. Несмотря ни на что мы с Дорой готовились к отъезду на год в Китай. Какая-то сила, более мощная, чем слова и даже невысказанные мысли, не давала нам разойтись. Нам пришлось трудиться день и ночь. От ее приезда до дня отъезда в Китай оставалось всего пять дней. Надо было купить одежду, оформить паспорта, попрощаться перед долгой разлукой с друзьями и родственниками, и поскольку в Китае я собирался получить развод, необходимо было провести несколько ночей вместе, откровенно продемонстрировав любовную связь. Нанятые детективы оказались до того тупыми, что свидания пришлось по-

1. Джон Дьюи (1859–1952) — американский философ-прагматик.

вторять несколько раз. Наконец все было улажено. Дора с присущим ей дипломатическим тактом сумела внушить своим родителям, будто мы только что поженились. Иначе они не пришли бы провожать нас на вокзал Виктория, так как были людьми традиционных взглядов. Как только поезд тронулся, все кошмары, неприятности и недоразумения последних месяцев растаяли, и началась совершенно новая жизнь. <...>

Китай

Мы отправились в Китай из Марселя на французском пароходе "Портос". Накануне отъезда из Лондона стало известно, что из-за случая чумы на борту отплытие задерживается на три недели. Нам вовсе не хотелось еще раз переживать процедуру прощания, поэтому мы все же поехали в Париж и провели три недели там. За это время я закончил книгу о России и, поколебавшись, решил ее напечатать. Выступать против большевизма значило, конечно, играть на руку реакции, и большинство моих друзей считали, что нельзя обнародовать правду о России, если только она не в ее пользу. Я, однако, во время войны приобрел иммунитет к подобным аргументам патриотов и полагал, что ничего хорошего из молчания не выйдет. Правда, дело осложнилось нашими с Дорой отношениями. Душной летней ночью, когда она уснула, я встал с постели и вышел на балкон посоветоваться со звездами. Мне хотелось разобраться во всем, отрешившись от дискуссионных страстей, и я устремил взор к Кассиопее. Мне показалось, что я скорее войду в гармонию со светилами, если опубликую то, что думаю о большевизме. Потому я продолжил работу и закончил книгу вечером накануне отъезда в Марсель.

В Париже мы почти все время проводили в приятных занятиях, покупках платья, подходящего для климата Красного моря, и всего прочего, что требовалось для нашего неофициального брака. Несколько дней в Париже сгладили возникшие между нами трения, мы сделались веселыми и беззаботными. Однако в море нам порой бывало трудно. Я остро переживал презрение, которое Дора вылила на меня за мою нелюбовь к России. Я даже как-то сказал ей, что напрасно мы отправились в эту поездку вместе и, пожалуй, лучше сразу броситься за борт. Но это настроение, видимо навеянное жарой, скоро прошло.

Вояж длился пять или шесть недель, так что у нас была возможность довольно близко познакомиться со своими спутниками. Французы были в основном из чиновного класса, а англичане — бизнесмены и каучуковые плантаторы. Англичане и французы постоянно ссорились, а мы улаживали конфликты. Однажды англичане попросили меня рассказать о советской России. Понимая, перед кем выступаю, я говорил о советском правлении только похвальные вещи, чем вызвал бурю негодования. Когда мы прибыли в Шанхай, наши соотечественники-англичане послали телеграмму в генеральное консульство в Пекине с требованием запретить нам высадку на берег. Мы утешались, вспоминая о том, что приключилось с главным нашим врагом в Сайгоне. В Сайгоне хозяин слона продавал зрителям бананы, которыми они его кормили. Мы дали животному по банану, и он нам вежливо поклонился, а наш враг пожалничал, и слон, подученный хозяином, облил его грязной водой, изрядно

попортив щегольской костюм. Может быть, наше тогдашнее веселье не прибавило нам расположения с его стороны.

В Шанхае нас никто не встретил. У меня еще дома возникло смутное подозрение, уж не разыгрывают ли нас, и чтобы удостовериться в том, что приглашение настоящее, попросил китайцев оплатить мой проезд. Вряд ли, думал я, найдется охотник заплатить за свою шутку 125 фунтов. Но когда никто не встретил нас на пристани, мои страхи ожили, и мы уже начали думать, как бесславно возвратимся домой. Оказалось, что наши друзья просто перепутали время прибытия парохода. Скоро встречающие поднялись на борт и отвезли нас в китайскую гостиницу, где мы провели три незабываемых дня. Первым делом возникли трудности из-за Доры. У наших хозяев создалось впечатление, будто она моя жена, и когда мы сказали, что это не так, они испугались, что рассердили меня своей бестактностью. Я сказал им, что желаю, чтобы к Доре относились как к моей жене, и они напечатали в газетах соответствующее заявление. С первого до последнего дня нашего пребывания в Китае все, с кем мы встречались, относились к ней с таким же уважением, как если бы она была моей официальной супругой, — несмотря на то, что мы оба настаивали, чтобы к ней обращались “мисс Блэк”.

В Шанхае мы без конца встречались с множеством людей — европейцев, американцев, японцев, корейцев и, разумеется, китайцев. Многие из тех, кто приходили к нам, были не в ладах друг с другом; не ладили, например, японцы и корейцы-христиане, которых выслали из страны за терроризм. (В Корее тогда слово “христианин” было синонимом бомбометателя.) Таким образом, нам приходилось сажать гостей подальше друг от друга и беспрестанно дрейфовать от одного стола к другому. Мы посетили пышный банкет, на котором китайцы произносили речи в лучших английских традициях, с обычными шутками. Мы впервые имели дело с китайцами и были приятно удивлены их остроумием и легкостью в общении. В то время я еще не знал, что цивилизованный китаец — самый цивилизованный в мире человеческий экземпляр. Меня пригласил на обед Сунь Ятсен, но, к моему величайшему сожалению, назначил день после нашего отъезда, так что я вынужден был отказаться. Вскоре он отправился в Кантон, чтобы возглавить национальное движение, охватившее впоследствии всю страну, и поскольку в Кантон я поехать не смог, то так его и не увидел.

Китайские друзья возили нас на два дня в Ханчжоу, полюбоваться Западным озером. В первый день мы плавали в лодке, во второй проделали путь по берегу на носилках. Это была волшебная красота древней цивилизации, превосходящая даже красоты Италии. Оттуда мы поехали в Нанкин, а из Нанкина пароходом в Ханькоу. Дни, проведенные на реке Янцзы, были так же прекрасны, как ужасны дни на Волге. Из Ханькоу мы отправились в Чанша, где проходила конференция по вопросам образования. Хозяева хотели, чтобы мы остались на неделю и ежедневно выступали с лекциями, но мы так устали и так хотели отдохнуть, что спешили в Пекин, поэтому пробыли только сутки, несмотря на то, что сам губернатор Хунаня оказывал нам всяческие почести и предоставил специальный поезд для путешествия по Учану.

Чтобы отплатить за гостеприимство, я прочел четыре лекции, выступил с двумя докладами и речью на вечернем заседании — все это в течение тех самых суток. В Чанша не было современных отелей, и нас лю-

безно предложили приютить у себя миссионеры, но дали понять, что нам с Дорой придется ночевать порознь. Мы предпочли остановиться в китайской гостинице. Удовольствия это нам не доставило. Всю ночь нас атаковали полчища клопов.

[202]

ИЛ 12/2000

Дуцзюнь (губернатор, командующий войсками провинции) устроил пышный банкет, на котором мы познакомились с супругами Дьюи, которые были чрезвычайно добры к нам, и потом, когда я заболел, Джон Дьюи очень помог нам обоим. Мне рассказывали, что, когда он пришел навестить меня в больнице, его тронули мои слова, произнесенные в горячке: "Мы должны выработать план достижения мира". На банкете присутствовало около сотни гостей. Мы собрались в огромном зале, а потом перешли в другой, где начался праздник, который невозможно описать словами. В разгар праздника губернатор извинился за скромное угощение и прибавил, что мы, вероятно, хотели бы увидеть повседневную жизнь, а не показную пышность. К великому сожалению, я не нашелся и не смог сказать в ответ ничего остроумного, но, надеюсь, переводчик исправил мою неловкость. Мы покидали Чанша во время лунного затмения и видели разложенные костры, слышали, как бьют в гонги, чтобы напугать Небесного Пса, — то есть насладились всем китайским традиционным ритуалом. Из Чанша мы отправились напрямик в Пекин, где впервые за десять дней смогли принять ванну.

Первые месяцы в Пекине были временем полного и абсолютного счастья. Все беды и неприятности забылись. Наши китайские друзья проявляли к нам исключительную любезность. Работа была интересна, а сам Пекин невероятно прекрасен.

В нашем распоряжении были слуга, повар и рикша. Слуга немного говорил по-английски, и с его помощью нас понимали окружающие. Процесс привывкания шел здесь легче, чем шел бы в Англии. Мы наняли повара заранее и велели приготовить обед к нашему вселению. Обед был готов вовремя. Слуга был в курсе всех дел. Однажды нам понадобилась мелочь, а у нас в старом столе лежала китайская монета, которую мы считали равной доллару. Мы описали ее местонахождение слуге и велели принести. Он мгновенно ответил: "Нет, мадам. Он плохой". Мы также пользовались услугами уборщицы. Мы наняли ее зимой, держали до лета, с удивлением замечая, что зимой она была довольно толстой и неуклюжей, а с наступлением теплых дней становилась все стройней и стройней, снимая с себя плотную одежду и одеваясь в элегантные летние платья. Нам пришлось самим обставить дом, и мы купили отличную мебель в магазине подержанных вещей. Китайские друзья не могли понять предпочтения, которое мы отдавали старинным китайским вещам перед современной мебелью из Бирмингема.

При нас состоял официальный переводчик, которому было поручено заботиться о нас. Он прекрасно владел языком и особенно гордился умением шутить по-английски. Звали его мистер Чжао, и когда я показал ему свою статью "Причины современного хаоса", он заметил: "Наверное, причины современного хаоса заключаются в том, что мы не распростились со вчерашним хаосом". Мы с ним крепко подружились. Он был помолвлен с китаянкой, и я даже помог ему устранить некоторые трудности, которые мешали их свадьбе. Мы до сих пор изредка переписываемся, а несколько раз он вместе с женой приезжал навестить меня в Англию.

Лекции отнимали много времени, вдобавок я вел семинар у аспирантов. Все слушатели, кроме одного, племянника императора, были большевиками. Один за другим они уехали в Россию. Это были прелестные молодые люди, в которых ум сочетался с естественностью, любознательные, стремившиеся сбросить оковы китайского традиционализма. Многие из них еще в детстве были обручены с воспитанными в традиционном духе девушками, и их мучили проблемы нравственного толка — найдется ли им оправдание, если они расторгнут помолвку и вступят в брак с современной девушкой? Пропасть между старым и новым Китаем была огромной, и особенно обременительными для современно мыслящей молодежи оставались семейные узы. Дора посещала учительский колледж для девушек. Они засыпали ее вопросами о браке, свободной любви, контрацепции и так далее, а она со всей откровенностью отвечала. Ничего подобного нельзя было вообразить себе в каком-либо европейском учебном заведении. Несмотря на свободомыслие, молодежь по-прежнему соблюдала традиционные условности. Мы иногда устраивали вечеринки для юношей из моего семинара и девушек из учительского колледжа. Придя к нам в дом первый раз, девушки спрятались в комнате, куда, как они предполагали, никто из мужчин не заглянет, и вытащить их оттуда и заставить общаться с мужчинами стоило большого труда. Но когда лед был сломан, нашего дальнейшего участия не потребовалось.

Национальный университет в Пекине, где я читал лекции, — замечательное учреждение. Его президент и вице-президент были горячими сторонниками модернизации. Таких законченных идеалистов, как вице-президент, я больше нигде не встречал. Фонды, из которых выплачивалось жалованье, были в руках Дуцзюня, так что преподавательская деятельность велась, в сущности, не за деньги, а из любви. Студенты стоили этой любви. Они жаждали знаний и готовы были на любые жертвы ради будущего своей страны. Атмосфера была наэлектризована предвкушением великого возрождения. После многовековой изоляции Китай ощутил себя частью современного мира, а реформаторы еще не заразились корыстолюбием и соглашательством. Англичане скептически поглядывали на сторонников реформ и твердили, что Китай останется Китаем. Меня уверяли, что глупо слушать вздорные речи незрелых юнцов, но через несколько лет эти незрелые юнцы подчинили себе Китай и лишили англичан многих дорогих им привилегий.

Когда к власти в Китае пришли коммунисты, британская политика по отношению к нему стала более цивилизованной, чем политика Соединенных Штатов; но до этого времени все было ровно наоборот. В 1926 году британские войска трижды применяли оружие против демонстраций безоружных студентов. Многие были убиты или ранены. Я вызвал в прессе резкий протест против этих акций; мое заявление напечатало сначала в Англии, а потом перепечатали во всех китайских газетах. Вскоре после этого случая в Англию прибыл работавший в Китае американский миссионер, с которым я переписывался. Он рассказал, что негодование китайцев достигло такого накала, что возникла реальная угроза для жизни англичан. Он даже сказал — хотя это звучало неправдоподобно, — что англичане в Китае уцелели благодаря мне, поскольку я внушил китайцам мысль, что не все представители моей нации негодяи. Как бы то ни было, враждебность я испытал и на себе, и не

только со стороны англичан в Китае, но и со стороны британского правительства.

Белые люди в Китае не подозревали о многих вещах, о которых были прекрасно осведомлены коренные жители. Как-то раз банк (американский) выдал мне банкноты французского банка, которые китайские торговцы отказались принимать. Мой банк выразил недоумение и выдал мне другие банкноты. А три месяца спустя, к удивлению всех “белых” банков в Китае, французский банк лопнул.

Англичанин на востоке, насколько я мог судить, — человек, совершенно оторванный от среды. Он играет в поло и ходит в свой клуб. Представление о культуре страны проживания складывается у него из книг миссионеров XVIII века, и он точно так же презирает восточную интеллигенцию, как интеллигенцию отечественную. В ущерб нашей политической мудрости, он упускает из виду тот факт, что на востоке образованных людей уважают, поэтому просвещенные радикалы возымели власть, немыслимую для Англии. Макдональд являлся в Виндзорский дворец на полусогнутых, а китайские реформаторы не оказывали такой чести своему императору, хотя наша монархия по сравнению с китайской находилась еще в пеленках.

Свои мысли о том, что следует сделать в Китае, я выразил на страницах книги “Проблема Китая” и не буду повторяться.

Несмотря на то, что Китай находился в брожении, нам он по сравнению с Европой казался страной философского спокойствия. Раз в неделю приходила почта из Англии, и газетные полосы, как и письма, обдавали нас жарким дыханием безумия. Поскольку нам приходилось работать по воскресеньям, мы завели привычку отдыхать по понедельникам и, как правило, проводили весь день в Храме Неба, самом прекрасном сооружении из всех, что мне довелось когда-либо видеть. Мы сидели на зимнем солнышке, почти не разговаривая, выпитывая безмятежный покой, и уходили, набравшись сил, чтобы в очередной раз с надлежащим бесстрастием встретить безумные распри, терзающие наш бедный континент. Иногда мы гуляли по знаменитой Китайской стене. Как сейчас помню одну такую прогулку, которая началась на закате и продолжалась при полной луне.

Китайцы обладают (или обладали) очень близким мне чувством юмора. Может быть, коммунизм уничтожил его, но тогда они очень напоминали мне героев их старинных книг. Как-то жарким днем два толстых пожилых бизнесмена пригласили меня проехать в автомобиле за город, к знаменитой полуразрушенной пагоде. Когда мы добрались до места, я поднялся по винтовой лестнице, ожидая, что они последуют за мной, но сверху увидел, что они и не думают этого делать. Я спросил почему, и они с достоинством ответили: “Мы собирались подняться и обсудили этот вопрос между собой. Прозвучало много веских аргументов за и против, но последний перевесил все прочие. Пагода может обрушиться каждую минуту, и на этот случай хорошо иметь свидетелей гибели известного философа”.

Они подразумевали, что день стоял слишком жаркий, а они были слишком тучными.

У многих китайцев необыкновенно утонченное чувство юмора, они наслаждаются шуткой, которую другие не понимают. Когда я уезжал из Пекина, мой друг подарил мне гравюру с классическим текстом, напи-

санным микроскопическими буквами. Я спросил, что там написано. Он ответил: "Когда приедете домой, спросите профессора Джайлза". В Англии я выяснил, что то были "Наставления мудреца" с рекомендацией всегда делать что хочется. Таким образом мой приятель подшутил над мной, имея в виду мой отказ давать советы китайцам в актуальных политических делах.

Зимой в Пекине очень холодно. Почти всегда дует северный ветер, несущий ледяное дыхание горной Монголии. Я заболел бронхитом, но не обратил на это внимания. Мне показалось, что я почти выздоровел, и по приглашению китайских друзей мы поехали в некую местность, находившуюся в двух часах езды на автомобиле от Пекина, там били горячие ключи. В отеле подавали изумительный чай, но кто-то сказал, что не стоит пить его слишком много, чтобы не испортить аппетит перед обедом. Я возразил, что не стоит загадывать. И оказался прав, потому что в следующий раз мне довелось с удовольствием поесть только через три месяца. После чая меня стала трясти лихорадка, и через час или около того решено было возвращаться в Пекин. На обратном пути у нас прокололась шина, а когда ее починили, остыл двигатель. Я к тому времени уже едва сознавал происходящее, а Дора и слуги-китайцы толкнули автомобиль на холм, и на спуске мотор заработал. Мы подъехали к городу поздно, и ворота оказались заперты, пришлось целый час звонить по разным телефонам, чтобы нам открыли. Когда мы наконец добрались до дома, я уже был без сознания. Меня поместили в немецкий госпиталь, и там Дора ухаживала за мною днем, а единственная на весь Пекин профессиональная английская сиделка — ночью. Две недели доктора ежевечерне предсказывали, что до утра я не доживу. Я ничего не помню из того времени, только некоторые сны. Придя в себя, я не мог уразуметь, где нахожусь, и не узнал сиделку. Дора объяснила, что я был опасно болен и чуть не умер, на что я ответил: "Как интересно", но был еще очень слаб и через пять минут все забыл, и ей пришлось объяснять снова. Я не помнил даже своего имени. Хотя целый месяц после того, как я пришел в сознание, мне продолжали твердить, что я могу умереть в любую минуту, я в это не верил. За мной ухаживала очень квалифицированная сиделка, она работала сестрой милосердия в сербском госпитале во время войны; госпиталь заняли немцы, и всех сестер выслали в Болгарию. Она без устали рассказывала мне, как сблизилась с королевой Болгарии. Сиделка была глубоко верующей и, когда мне полегчало, говорила, что всерьез задумывалась, не следовало ли ей позволить мне отойти в мир иной. К счастью, профессиональная выучка оказалась сильнее религиозно-нравственных соображений.

В период выздоровления, несмотря на слабость и физический дискомфорт, я чувствовал себя очень счастливым. Преданность Доры заставляла меня забыть обо всех неприятностях. Как раз когда я пошел на поправку, Дора обнаружила, что беременна, и это стало причиной нашего обоюдного счастья. С тех самых пор, как я гулял по Ричмонд-Грин с Элис, все сильнее и сильнее становилось мое желание иметь детей, которое превратилось во всепоглощающую страсть. Когда выяснилось, что я не только выживу сам, но и буду иметь ребенка, мне стали совершенно безразличны все обстоятельства моей болезни, хотя она сопровождалась массой мелких недугов. Главным заболеванием была двусторонняя пневмония, а кроме того, у меня болело сердце, почки, я

заработал дизентерию и тромбофлебит. Однако ничто не мешало моему счастью, и вопреки всем мрачным прогнозам болезнь не оставила никаких последствий.

[206]

ИЛ 12/2000

Лежать в постели и знать, что тебе ничего не грозит, было удивительно приятно. До той поры я считал себя неисправимым пессимистом и не очень-то ценил жизнь. Теперь я понял, что ошибался, и жизнь стала казаться мне бесконечно прекрасной. Дождь в Пекине идет редко, но во время моего выздоровления прошли обильные ливни, и из окон тянуло сладким запахом влажной земли. Я думал, как было бы ужасно никогда больше не ощутить этот запах. То же самое относится к солнечному свету и шуму ветра. Под моими окнами росли прелестные акации, и как раз когда я уже мог любоваться ими, они зацвели. Тогда я понял, до чего радостно жить на свете. Большинство людей, наверное, всегда живут с этим чувством, но мне оно было недоступно.

Мне сказали, что китайцы собирались похоронить меня у Западного озера и воздвигнуть усыпальницу. У меня даже возникло легкое сожаление, что этого не случилось, ибо я мог бы превратиться в божество — для атеиста это особая удача.

В Пекине располагалась советская дипломатическая миссия, где работали очень любезные люди. У них был запас шампанского, лучшего во всем городе, и они бесплатно снабжали меня этим единственным напитком, подходящим для больных воспалением легких. Советские дипломаты брали сперва Дору, а потом нас обоих в автомобильные поездки по окрестностям Пекина. Это доставляло нам массу удовольствия, но немало и волнений, потому что русские столь же отчаянно ведут себя за рулем, как и во время революции.

Я, наверно, обязан жизнью Рокфеллеровскому институту в Пекине, который снабдил меня серой, убивающей пневмококки. Моя благодарность тем более искренна, что и до и после этих событий я был их политическим противником и, видимо, внушал им не меньший ужас, чем моей сиделке.

Доре не давали покоя японские журналисты, желавшие взять у нее интервью, в то время как она всей душой рвалась ко мне. Не выдержав, она бросила им наконец что-то резкое, и они напечатали в газетах, будто я умер. Новость мгновенно разошлась по свету — из Японии в Америку, из Америки в Англию. В английской печати она появилась в тот же день, что и извещение о моем разводе. К счастью, Верховный суд не принял ее всерьез, иначе развод был бы отложен. Я не без удовольствия читал собственные некрологи, в которых было написано именно то, чего бы мне хотелось, никак не ожидая, что мне доведется прочесть все это собственными глазами. Помнится, в одной миссионерской газете было сказано буквально следующее: "Да простится миссионерам вздох облегчения, который они издали, узнав о кончине мистера Бертрана Рассела". Боюсь, они издали вздох совсем другого рода, обнаружив, что я жив. Моих друзей в Англии известие о моей смерти опечалило. А мы в Пекине ни о чем не подозревали, пока не получили телеграмму от моего брата с просьбой разъяснить, жив я все-таки или нет. В телеграмме говорилось, что умереть в Пекине — это на меня не похоже.

Мое выздоровление задержалось из-за тромбофлебита, который на полтора месяца приковал меня к постели. Все это время мне пришлось неподвижно лежать на спине. Нам не терпелось вернуться домой, и уже

начинало казаться, что этого никогда не будет. Трудно сохранять терпение, когда доктора только и твердят, что не остается ничего другого, кроме как ждать. И когда терпение подходило к концу, мы наконец смогли покинуть Пекин, хотя я был еще очень слаб и передвигался с помощью палочки. Это произошло 10 июля.

Вскоре после нашего возвращения из Китая британское правительство решило покончить с проблемами, связанными с последствиями боксерского восстания. После подавления восстания соответствующий договор предусматривал выплату китайским правительством ежегодной репарации всем европейским странам, которым был нанесен ущерб. Предусмотрительные американцы подготовились к этому вопросу с особым тщанием. Друзья Китая советовали и Британии сделать то же самое, но напрасно. Наконец было решено, что вместо репарационных выплат китайцы заплатят определенную взаимосогласованную сумму. Форму, в какой должна была осуществляться эта выплата, оставили на усмотрение комиссии, в которой участвовали два представителя китайской стороны. Когда премьер-министром был Макдональд, он пригласил в эту комиссию Лоуэса Дикинсона и меня и получил на то согласие В. К. Дина и Ху Ши, наших китайских партнеров. Однако вскоре кабинет Макдональда пал, а преемник — консервативное правительство — информировало нас с Дикинсоном, что комиссия в наших услугах не нуждается, так же как и в услугах В. К. Дина и Ху Ши, — па том основании, что мы якобы понятия не имеем о Китае. Китайское правительство ответило, что желает видеть в составе комиссии указанных китайцев, которых рекомендовал я, и никого иного. Это положило конец слабым попыткам сохранить дружественные отношения с Китаем. Единственное, что удалось обеспечить в период лейбористского правления, — запретить торговлю на территории Шаньдуна и не допустить превращения его в площадку для гольфа британских морских сил.

До болезни я дал согласие отправиться из Китая в лекционное турне по Японии, которое пришлось сократить до одного выступления и нескольких визитов. В Японии мы провели двенадцать лихорадочных дней — нельзя сказать, чтобы приятных, но несомненно интересных. В отличие от китайцев японцы не могли похвастать изяществом манер и проявили изрядную назойливость. Поскольку я был еще довольно плох, мы старались избегать лишнего напряжения, но не тут-то было. В первом же порту, в котором остановился наш пароход, залегли в засаде человек тридцать репортеров, хотя мы сделали все возможное, чтобы сохранить наш маршрут в тайне. Они выяснили подробности через полицию. Японские газеты не поместили опровержение по поводу сообщения о моей смерти, и Дора вручила каждому из них машинописную копию моего некролога, сказав, что коли я мертв, то и ни о каком интервью речи быть не может. Они присвистнули и отреагировали: «Очень забавна!»

Первым делом мы отправились в Кобе к Роберту Янгу, редактору «Джапэн кроникл». Причаливая к пристани, мы увидели процессию с флагами, и, как нам объяснили знающие японский язык, на флагах были начертаны приветственные слова, адресованные мне. Оказалось, что в доках идет масштабная забастовка, а полиция не разрешила никаких демонстраций, за исключением приветственных, в честь знатных иностранцев. Таким образом, забастовщики воспользовались мной как щитом

для своего выступления. Руководил ими христианский пацифист Кагава, который привел меня на митинг забастовщиков, где я выступил с речью. Роберт Янг — человек замечательный; он покинул Англию в 80-е годы и не был свидетелем разрушения своих идей. В его кабинете висел большой портрет Брэдлоу¹, чьим почитателем он был. Газета, где он работал редактором, кажется мне лучшей из всех, что я знаю, а начал он ее с десятистами фунтами капитала, которые скопил из своего жалования наборщика. Янг повез меня в Нару, изысканно прекрасное место, где можно еще увидеть старую Японию. Потом мы попали в руки редакторов современного журнала “Кайдзо”, которые показали нам Киото и Токио, на каждом шагу предусмотрительно сообщая репортерам, куда мы двигаемся, так что те следовали за нами по пятам и фотографировали, даже когда мы спали. В обоих городах на встречу с нами они приглашали огромное количество профессоров. В обоих городах нас ни на минуту не выпускали из поля зрения шпионы, приставленные полицией. В гостиницах соседний номер всегда занимала полицейская бригада, оснащенная пишущей машинкой. Официанты относились к нам так, будто мы члены королевской семьи, и выходили из комнаты, пятась задом. Едва мы произнесли нечто вроде “Черт бы побрал этого официанта”, как за стенкой начинала стрекотать машинка. На профессорских вечеринках в нашу честь, едва я вступал с кем-нибудь в интересующий меня разговор, как незамедлительно просверкивала фотовспышка и беседа, естественно, замирала.

К женщинам японцы относятся самым первобытным образом. В Киото нам достались дырявые противомоскитные сетки над кроватями, так что мы полночи не спали. Наутро я пожаловался, и к вечеру мою сетку починили, а у Доры все осталось как было. Я снова пожаловался, на что мне ответили: “А мы не знали, что для леди это имеет значение”. Однажды, когда мы ехали в пригородном поезде с историком Эйлин Пауэр, тоже путешествовавшей по Японии, в вагоне не оказалось свободных мест, и какой-то японец вскочил, уступая мне свое место. Я посадил Дору. Тогда другой японец предложил мне свое место. Я уступил его Эйлин Пауэр. Тут уж японцы так возмутились моим немужским поведением, что дело чуть не дошло до рукоприкладства.

Из японцев нам по-настоящему понравился только один человек — некая мисс Ито. Эта молодая красивая женщина жила с известным анархистом, от которого у нее был сын. Дора сказала ей: “А вы не боитесь властей?” Та провела ладонью по горлу и ответила: “Я знаю, что рано или поздно они это сделают”. Во время землетрясения полицейские пришли в дом, где она жила вместе с анархистом, и увели его, ее самое и ее племянника, которого приняли за сына, в участок. Там их поместили в разные камеры и задушили, похваставшись, что легче всего было прикончить ребенка, с которым они подружились по дороге. Эти полицейские стали национальными героями, и школьников обязывали писать о них сочинения.

Из Киото до Икогамы мы ехали десять часов в страшной духоте. Приехали уже в темноте, и нас встретили вспышки магния; Дора испугалась, и я боялся, не произойдет ли у нее выкидыш. Впервые после того случая, когда я чуть не задушил Фицджеральда, меня ослепила ярость. Я

1. Чарльз Брэдлоу (1833—1891) — английский социальный реформатор, защитник прав женщин и тред-юнионизма.

бросился на парней со вспышками, но, на счастье, из-за хромоты не смог догнать, иначе смертоубийство было бы неизбежно. Одному из фоторепортеров удалось снять меня с горящими ненавистью глазами. Я и вообразить не мог, что могу выглядеть таким безумцем. Эта фотография стала моей визитной карточкой в Токио. Подобные чувства, должно быть, испытывали англо-индийцы во время мятежа или белые, окруженные взбунтовавшимися туземцами. Я тогда понял, что стремление защитить свою семью от людей чужой расы, вероятно, самая могучая страсть, свойственная человеку. Последним моим впечатлением, вынесенным из Японии, стала публикация в одном патристическом издании моего якобы прощального послания японскому народу, где я побуждал его к шовинизму. Ни этого, ни какого другого послания ни в одну газету я не направлял.

Мы отплыли из Иокогамы пароходом компании “Кэнэдиен пасифик”. Нас провожали анархист Одзуки и мисс Ито. На “Азиатской императрице” мы сразу ощутили перемену отношения. Беременность Доры еще не была заметна простому наблюдателю, но корабельный доктор бросил на нее профессиональный взгляд и, как нам стало известно, поделился своими наблюдениями с пассажирами. В результате с нами почти никто не разговаривал, хотя все пытались нас сфотографировать. Лишь скрипач Миша Элман¹ и его аккомпаниатор готовы были с нами общаться. А поскольку все прочие желали сблизиться с ним, их страшно раздражало, что он постоянно находится в нашей компании. В конце августа мы благополучно прибыли в Ливерпуль. Шел сильный дождь, все жаловались на сквозняки, и мы поняли, что вернулись домой. На пристани стояла мать Доры, отчасти для того, чтобы нас встретить, отчасти чтобы дать дочери мудрый совет, однако постеснялась. 27 сентября мы поженились, но прежде мне пришлось присягнуть королевскому проктору, что Дора — та самая женщина, с которой у меня была незаконная связь. 16 ноября родился мой сын Джон, и с тех пор дети на много лет стали моим главным интересом в жизни. <...>

Второй брак

С возвращением из Китая в сентябре 1921 года моя жизнь вступила в менее драматичную фазу; сместился и ее эмоциональный центр. С юности и вплоть до окончания работы над “Principia Mathematica” я занимался главным образом интеллектуальным трудом. Я хотел понять и заставить понимать других; я хотел воздвигнуть монумент, благодаря которому меня будут помнить, благодаря которому я почувствую, что жизнь прожита не зря. С начала первой мировой войны и до возвращения из Китая эмоциональным центром моей жизни были общественные проблемы. Война и советская Россия в равной мере окрасили мое сознание в трагические тона, но у меня была надежда, что человечество можно научить жить менее мучительно. Я пытался раскрыть секрет мудрости и провозгласить ее достаточно убедительно, чтобы мир услышал и внял ей. Но постепенно мой пыл охладил, а надежда потухла; я не изме-

1. Миша Элман (1891—1967) — американский скрипач, выходец из России, широко гастролировавший в Европе.

нил своего мнения о том, как следует жить, но уже без прежнего жара выражал его и все меньше надеялся на успех своих идей.

С того летнего дня 1894 года, когда мы с Элис бродили по Ричмонд-Грин, после того как выслушали приговор врача, я пытался заглушить острое желание иметь детей. Тем не менее оно становилось все сильнее, покуда не сделалось невыносимым. Когда в ноябре 1921 года появился на свет мой первенец, я почувствовал огромное облегчение, и на целых десять лет главными моими заботами стали отцовские. Родительское чувство, насколько я могу судить по своему опыту, очень сложно. Его сердцевина — это животная любовь и наслаждение, которое доставляет очарование детства и юности. Еще это чувство всегдашней ответственности, которая придает труднообъяснимый смысл ежедневному труду. Еще здесь присутствует толика эгоизма: тут и упование на то, что дети преуспеют там, где ты недотянул, что они продолжают твое дело, когда смерть или старческая немощь положат конец твоим попыткам преуспеть, и, наконец, что благодаря им ты преодолеешь биологическую смерть и твоя жизнь вольется в общий поток, а не застоится затхлым одиноким озерцом где-то па отшибе. Все это я пережил, и в течение нескольких лет это наполняло мою жизнь счастьем и покоем.

Прежде всего необходимо было найти жилье. Я пытался снять квартиру, но из-за моей политической и моральной неблагонадежности хозяева мне отказывали. Наконец, я купил дом в Челси, на Сидни-стрит, 31, где родились двое моих старших детей. Но детям не полезно круглый год жить в Лондоне, и весной 1922-го мы приобрели дом в Корнуолле, в Порткурно, в четырех милях от Лэндс-Энда. До 1927 года мы примерно полгода проводили в Лондоне и полгода в Корнуолле, а потом мы уже насовсем уехали из Лондона, да и в Корнуолле бывали только наездами.

Красота побережья неразрывно слилась в моей памяти с восторгом, который охватывал меня, когда я смотрел на двух здоровых счастливых ребятшек, наслаждавшихся морем, скалами, солнцем и ветром. Я уделял им больше времени, чем обычно могут себе позволить отцы. Ту половину года, что мы проводили в Корнуолле, жизнь наша текла спокойно и размеренно. Утром, когда мы с женой работали, дети находились на попечении сначала няни, а потом гувернантки. После ланча мы шли на один из пляжей — все они находились неподалеку. Дети играли голышом, купались, лазили по скалам, строили замки из песка, а мы во всем этом участвовали. Домой приходили с волчьим аппетитом и пили чай. Потом детей укладывали спать, а взрослые возвращались к своим взрослым занятиям. В памяти — которая, конечно, меня обманывает — сохранились только солнечные и, начиная с апреля, теплые дни. Но на самом деле в апреле дули холодные ветры. Одним апрельским днем, когда Кейт было два года и три с половиной месяца, я услышал, как она приговаривает себе под нос, и записал для памяти:

Северный ветер дует с Северного полюса.

Маргаритки горят в траве.

Ветер сгибает к земле колокольчики.

Северный ветер дует навстречу южному ветру.

Она не подозревала, что ее слушают, и, конечно, понятия не имела о Северном полюсе.

В этих обстоятельствах я естественным образом заинтересовался проблемами воспитания. Я уже вкратце коснулся этого предмета в "Принципах социальной реконструкции", но теперь он всерьез завладел моими мыслями. Я написал книгу "О воспитании, особенно в раннем возрасте", которая была опубликована в 1926 году и разошлась с большим успехом. Теперь мне кажется, что я тогда слишком оптимистично оценивал детскую психологию, но общий подход к воспитанию и его приоритетам у меня не изменился, разве что предлагавшиеся для раннего возраста методы были, пожалуй, излишне суровыми. <...>

В 1927 году мы с Дорой пришли к ответственному решению открыть собственную школу, чтобы наши дети получили то образование, которое представлялось нам оптимальным. Мы были убеждены — возможно ошибочно, — что дети должны воспитываться в кругу сверстников, и не хотели больше лишать наших ребятишек общества других детей. Ни одна из известных школ нас не удовлетворяла. Мне и Доре требовалось необычное сочетание условий. С одной стороны, нам не нравились чопорность и религиозная направленность, множество ограничений, которые воспринимаются как должное в обычных школах. С другой — нам никак не импонировали современные "эксперименты" в области образования: полная свобода от всяческой дисциплины и отрицание методического обучения. Итак, мы решились набрать группу — человек двадцать — примерно одного возраста с Джоном и Кейт, чтобы обучать их на протяжении всех школьных лет.

Для школы мы арендовали дом моего брата в Саутдаунсе, между Чичестером и Петерсфилдом. Он назывался "Телеграфным домом". Во времена Георга III в этом здании находился семафор для передачи сообщений на расстоянии, один из тех, что установили между Портсмутом и Лондоном. Может быть, именно через него прошла весть о Трафальгарской битве.

Изначально это был очень небольшой домик, но брат постепенно перестроил его. Брат был страстным патриотом этого места и посвятил ему немало страниц в автобиографии, которую назвал "Моя жизнь и приключения". Дом был некрасив и несуразен, но великолепно расположен. Оттуда открывался вид на восток, юг и запад. С одной стороны можно было видеть через Суссекскую часть Уилда Лит-хилл, с другой — остров Уайт и корабли, направлявшиеся в Саутгемптон. В башне с четырьмя окнами, выходившими на все четыре стороны света, я устроил себе кабинет, и лучшего вида из окон было не придумать.

К дому прилегали двести тридцать акров необработанной земли, заросшей вереском и папоротниками, а по большей части — девственным лесом с массивными буковыми деревьями и древними, невероятных размеров тисами. Лес кишел всевозможной живностью, там водились даже олени. Ближайшими нашими соседями были фермеры, которые жили примерно в миле от нас. К востоку, миль на пятьдесят, простирались нехоженные земли.

Неудивительно, что мой брат так полюбил эти места. Но он неудачно играл на бирже и потерял все до последнего пенни. Я предложил ему арендную плату гораздо выше той, что он мог бы взять с кого-либо другого, и бедность вынудила его принять мои условия. Но необходимость

пустить в этот рай посторонних мучила его, и при каждом удобном случае он мне на это пенял.

Впрочем, этот дом связывался у него с некоторыми не совсем приятными воспоминаниями. Он приобрел его в качестве тайного убежища, где мог наслаждаться обществом некой мисс Моррис, на которой много лет собирался жениться, пытаясь получить развод у первой жены. Молли, его вторая жена, вытеснила из его сердца мисс Моррис, но из-за нее он попал в тюрьму по обвинению в двоеженстве. Ради Молли он развелся с первой женой. Это произошло в Рено, и там же он женился вторично. По возвращении в Англию выяснилось, что британское законодательство признает браки, заключенные в Рено, но не признает полученных там разводов; на этом основании его повторный брак был сочтен актом бигамии. Вторая жена, женщина очень толстая, носила зеленые вельветовые бриджи; ее вид сзади, когда она склонялась над цветочной клумбой у "Телеграфного дома", заставлял задуматься о том, что подвигло моего брата пройти ради нее через такие испытания.

Ее владычеству, как и владычеству мисс Моррис, пришел конец, когда он влюбился в Элизабет. Молли потребовала за развод четыреста фунтов в год пожизненно, после смерти брата платить пришлось мне. Она умерла, когда ей стукнуло лет девяносто.

Элизабет сама оставила его и написала о нем невыносимо жестокий роман под названием "Вера". В романе эта самая Вера уже мертва; она была женой героя, и ее смерть разбила ему сердце. Она погибла, выпав из окна башни "Телеграфного дома". Мало-помалу читатель догадывается, что это была не смерть от несчастного случая, а самоубийство, вызванное жестокостью моего брата. Ознакомившись с этим произведением, я завещал моим детям никогда не жениться на сочинителях романов.

Вот в этом-то доме, полном воспоминаний, и устроили школу. Управляя школой, мы столкнулись с массой трудностей, которые нам следовало предвидеть. Прежде всего, конечно, финансовых. Скоро стало очевидно, что заведение будет явно убыточным. Избежать этого можно было, лишь увеличив набор и ухудшив питание, то есть приблизив школу к общим стандартам, что шло наперекор нашим замыслам. К счастью, как раз в это время я стал довольно много зарабатывать книгами и получать деньги за лекции в Америке. Таких лекционных туров было всего четыре — я уже упоминал о первом, в 1924 году, потом я повторил их в 1927, 1929 и 1931-м. Лекции 1927 года пришлось на начальный семестр в нашей школе, так что я не принял в нем участия. Во время второго семестра на лекции в Америку уехала Дора. Таким образом, на протяжении двух первых семестров мы поочередно брали в свои руки бразды правления. Однако если я не уезжал в Америку, то писал книги ради заработка. Так что целиком отдаться делу образования у меня не получалось.

Вторая трудность заключалась в том, что преподавательский состав, как бы тщательно мы ни инструктировали его относительно наших задач, справлялся с ними только под нашим руководством.

Третьей заботой, и, наверное, самой серьезной, была непропорционально большая доля трудных детей. Эту опасность следовало, конечно, предвидеть, но мы на первых порах были рады любому ребенку. Родители, желавшие опробовать новые методы, как правило, уже порядком на-

хлебались со своими детками. Чаще всего винить в этом надо было самих родителей, в чем мы убеждались каждый раз, когда ученики возвращались с каникул. Так или иначе, многие дети были жестоки и склонны к разрушению. Предоставить их самим себе значило установить царство террора, где сильный будет держать слабого в страхе и трепете. Школа — модель мира; только ответственное правление может предотвратить разгул насилия. Так что я чувствовал себя обязанным все свободное от уроков время присматривать за учениками, чтобы не допустить проявлений жестокости. Мы разделили детей на три группы — больших, средних и маленьких. Один мальчик из средней группы постоянно третировал малышей, и я спросил почему. Ответ был таков: “Меня большие бьют, а я бью маленьких; все по справедливости”. Он и впрямь так думал.

Иногда мы были свидетелями того, как выходили наружу самые дикие импульсы. Среди учеников у нас были брат и сестра, мать которых отличалась чрезвычайной чувствительностью. Она требовала от них невероятных проявлений нежности друг к другу. Как-то раз учительница, дежурившая в столовой, перед раздачей обнаружила в супе половинку шпильки. В результате расследования выяснилось, что бросила ее туда нежная сестричка. “Ты что же, не знаешь, что, если бы эта шпилька попала в твою тарелку, ты бы умерла?” — спросили ее. “Знаю, — ответила она. — Но я супа не ем”. Оказалось, она надеялась, что жертвой будет ее братец. В другой раз, когда одному мальчику, не пользовавшемуся любовью товарищей, подарили пару кроликов, двое других попытались их зажарить живьем, развели огонь, который стал пожирать акр за акром и, если бы не перемилился ветер, спалил бы дом дотла.

Для нас и наших детей со школой были связаны особые трудности. Школьники считали, что наш сын пользуется неоправданными привилегиями, хотя мы изо всех сил старались держать по отношению к нему и дочери дистанцию, делая исключение только на время каникул. Они, бедняжки, чувствовали себя меж двух огней: либо их будут считать ябедами, либо им придется обманывать родителей. Счастливая гармония, существовавшая в наших отношениях, пошла прахом, вместо нее появились неловкость и смущение. Наверное, нечто подобное всегда происходит в школах, где дети и родители оказываются вместе.

Оглядываясь назад, я понимаю, какие серьезные ошибки допустили мы в организации школы. Во-первых, дети в группе не могут нормально жить без строгого порядка и дисциплины. Бесконтрольный досуг быстро им наскучивает, легкие шалости перерастают в разрушительное буйство. Всегда рядом должен быть взрослый, готовый предложить интересную игру или занятие, то есть взять на себя инициативу, которой трудно ожидать от маленьких детей.

Во-вторых, у нас было гораздо меньше свободы, чем хотелось бы. Например, ее было очень мало в том, что касалось здоровья и гигиены. Детям полагалось умываться, чистить зубы и ложиться спать в определенное время. Нам, конечно, и в голову не приходило, что здесь допустимы поблажки, но недалекие люди, особенно журналисты, искавшие сенсации, обвиняли нас в том, что мы выступаем за отмену каких бы то ни было принуждений и ограничений. Старшие дети, когда им напоминали о чистке зубов, недовольно огрызались: “И это называется свободная школа!” Те, кто слышали, как родители дома рассуждают о царящей в нашей школе свободе, старались опытным путем определить ее грани-

цы, внутри которых можно безобразничать, не опасаясь наказания. Поскольку мы пресекали только очень серьезные нарушения порядка, то эти опыты доставляли нам много неприятностей.

В 1929 году я опубликовал книгу "Брак и мораль", которую диктовал, выздоравливая после коклюша. (Из-за возраста эту болезнь распознали только тогда, когда я успел заразить чуть ли не всю школу.) Именно эта книга спровоцировала атаку, которой я подвергся в 1940 году в Нью-Йорке. В ней я развивал мысль о том, что нынче нельзя ожидать абсолютной верности от большинства брачных союзов, но муж и жена должны уметь оставаться друзьями, несмотря на побочные романы. Я, однако, не утверждал, что брак следует сохранять, если жена родила ребенка или нескольких детей не от своего благоверного; на мой взгляд, в этом случае предпочтительней развод. Не могу сказать, что я теперь думаю о супружестве. На каждую обобщающую концепцию можно найти убийственный контраргумент. Возможно, легкость разводов приносит меньше несчастий, чем запрет на них, но я уже не держусь за свои взгляды в этой области.

В следующем, 1930 году я опубликовал "Завоевание счастья", книгу, в которой содержались здравые советы, как преодолевать личные временные несчастья, не ожидая улучшения общественной и экономической систем. Эта книга была по-разному встречена тремя различными слоями читателей. Читатели неискушенные, которым она и предназначалась, ее полюбили, так что книга очень хорошо продавалась. Высокопоставленные, напротив, сочли ее эскапистским трюком, клапаном для выпуска пара, вредным сочинением, отвлекающим от политики и убеждающим читателей в существовании каких-то полезных дел, далеких от нее. Книгу высоко оценил еще один слой читателей — профессиональные психиатры. Не мне судить, кто прав; я сделал свое дело — написал книгу тогда, когда мне особенно нужно было самообладание, когда многому научился на своем скорее горьком, чем счастливом опыте. <...>

В мае и июне 1931 года я диктовал моему тогдашнему секретарю Пег Адамс короткую автобиографию, которую довел до 1921 года; она и легла в основу настоящей книги. Я закончил ее эпилогом, где, как будет дальше видно, не признавал личного несчастья, а только политические и метафизические разочарования. Я помещаю его здесь не потому, что продолжаю думать так же, а потому, что он проливает свет на то, как трудно давалась мне адаптация к меняющемуся миру и трезвой философии.

Эпилог

С тех пор как я вернулся из Китая, моя жизнь была счастливой и спокойной, дети не обманули моих ожиданий и дали мне много радости, и я строил свою жизнь, ориентируясь прежде всего на них. Однако если внешне жизнь текла вполне удовлетворительно, то мое внутреннее мироощущение становилось все более мрачным и мне все труднее было сохранять веру в то, что надежды, которые я раньше питал, осуществляются в обозримом будущем. Я пытался уйти в собственный мир, ограниченный проблемами воспитания детей и зарабатывания денег для них. С ранних лет я верил в неизблемость двух вещей — доброты и ясности мышления. Поначалу и то и другое оставалось неизменным. В моменты

триумфа я больше уповал на ясность мышления; находясь в ином состоянии, верил в доброту. Постепенно они слились в моем сознании. Я обнаружил, что мутные идеи служат прикрытием жестокости, а жестокость порождается суевериями. Война продемонстрировала, что жестокость гнездится в самой природе человека, но я надеялся, что после войны в нем заговорит другое. Россия показала мне, что не следует ждать ничего хорошего от революций, разрушающих существующий порядок, в том числе для детей. Жестокость по отношению к детям, допускаемая в принятых методах образования и воспитания, чудовищна, и странно видеть ужас, который вызывает любая попытка сделать эту систему более гуманной.

Как патриота меня удручает падение Англии, пока — не полное, но не за горами и полное. История Англии последних четырех столетий в моей крови, и мне хотелось бы передать своему сыну традицию публичности, которую так ценили в прошлом. В мире, который я провижу, этой традиции места нет, и хорошо, если она вообще сохранится. Ощущение неминуемой угрозы придет всему, что делается в Англии, оттенок тщетности.

Если цивилизация уцелеет, в мире будет доминировать либо Америка, либо Россия, в любом случае возобладает система, при которой индивид будет жестко подчинен государству.

Что же философия? Лучшие годы моей жизни были отданы «Основаниям математики» в надежде обрести хоть частицу надежного знания. Результатом написания трех объемистых томов стало внутреннее сомнение и замешательство. Что же касается метафизики, то, освободившись под влиянием Джорджа Мура от веры в немецкий идеализм, я поначалу с радостью уверовал в реальность ощущений. Понемногу, главным образом под влиянием физики, мой восторг уял и я занял позицию, близкую берклианской, только без его Бога и его англиканского благодушия.

Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, как она бесполезна из-за приверженности к недостижимым идеалам. В послевоенном мире я не нашел ни одного реального идеала, который мог бы заменить те, от которых пришлось отказаться. Думая обо всем, что было мне дорого, я вижу, что мир вступает в полосу мрака. Когда пала Римская империя, Блаженный Августин, тогдашний большевик, утешался новой надеждой, но я скорее разделяю взгляды несчастных философов-язычников эпохи Юстиниана, которые, согласно Гиббону, искали убежища в Персии, но, ужаснувшись тому, что там увидели, вернулись в Афины, хотя фанатики-христиане запрещали их учение. Даже они были счастливыми по сравнению со мной — по крайней мере, их философия им не изменила. Они не усомнились в величии Платона. Со своей стороны, я вижу в современной философии разрушение великих систем самого недавнего прошлого и не верю в то, что конструктивные усилия современных философов и ученых-естественников хоть в какой-то мере сравнимы с масштабом их разрушительного ниспровергательства.

В силу привычки я продолжаю работать и в обществе коллег забываю отчаяние, которое пронизывает мои повседневные дела и отравляет мелкие удовольствия. Но когда я один и ничем не занят, я не могу скрыть от самого себя бесцельность своей жизни и отсутствие новой цели, которой мог бы посвятить оставшиеся годы. Я погрузился в беспросветный туман одиночества и не вижу исхода ни для чувств, ни для мысли.

11 июня 1931 г.

Последние годы в “Телеграфном доме”

[216]

ИЛ 12/2000

Когда я покинул Дору, она продолжала вести нашу школу до самого конца второй мировой войны, хотя после 1934 года школа размещалась уже не в “Телеграфном доме”. Джона и Кейт отправили в дарлингтонскую школу, где им очень нравилось.

Одно лето я провел в Хендее, а следующее — частично в доме Джеральда Бренана недалеко от Малаги. Раньше я не встречался с Бренаном и рад был познакомиться с такими интересными и приятными людьми. Гэмел Бренан оказалась ученой дамой с огромной эрудицией и широкими интересами, в чьей голове умещались обрывки знаний из самых неожиданных областей, она воспевала непознанное и сочиняла умные стихи. Наша дружба сохранилась, и она иногда приезжает нас навестить — милая осенняя гостья.

Лето 1932 года я провел в Карн-Веле, в доме, который потом отдал Доре. Там я написал “Воспитание и общественный порядок” и, освободившись от обременительной заботы содержать школу, покончил с бестселлерами. Потерпев фиаско в роли родителя, я почувствовал, как во мне оживают серьезные писательские амбиции.

В 1931 году, во время лекционного турне по Америке, я заключил договор с издателем У. У. Нортон на книгу, которая вышла в свет в 1934-м под названием “Свобода и организация”. Я работал над ней вместе с Патрицией Спенс, известной как Питер Спенс, сначала в квартире у Императорских ворот (Кейт и Джон расстроились, не увидев там ни императора, ни ворот), а потом в замке Дейдрет (в Северном Уэльсе), который был частью отеля “Портмейрион”. Работал я с удовольствием, и жизнь в отеле была очень удобной. Владельцами отеля были мои друзья — архитектор Клауф Уильямс-Эллис и его жена Амабел, писательница, чье общество доставляло мне большое удовольствие.

Когда работа над книгой закончилась, я решил вернуться в “Телеграфный дом” и сказать Доре, что ей следует куда-нибудь переселиться. Причина была в деньгах. Я должен был ежегодно платить 400 фунтов арендной платы за дом и алименты бывшей жене покойного брата. Кроме того, надо было платить алименты Доре и покрывать расходы Кейт и Джона. Между тем мои доходы катастрофически уменьшались, отчасти из-за депрессии, во время которой книги раскупались значительно хуже, отчасти из-за того, что я перестал писать популярные книги, отчасти также из-за того, что в 1931 году я отказался гостить в замке Херста в Калифорнии. Ежедневные статьи в херстовских газетах приносили мне тысячу долларов в год, но после моего демарша гонорары сократились вдвое, а вскоре мне сообщили, что от моих услуг отказываются. “Телеграфный дом” был огромен, и подъехать к нему можно было только двумя частными дорогами, каждая примерно с милей длиной. Мне хотелось его продать, но я не мог выставить его на продажу, пока там располагалась школа. Оставалось одно — жить в нем и постараться сделать привлекательным для возможных покупателей.

Обосновавшись снова в “Телеграфном доме” (уже без школы), я отправился на отдых на Канарские острова. Вернувшись, я обнаружил, что, несмотря на ясность ума и доброе здоровье, начисто лишился творческого импульса и не знаю, за что взяться. Месяца два — исключительно

но чтобы не сидеть сложа руки — я посвятил проблеме двадцати семи прямым на поверхности куба. Кончились эти занятия ничем, проку от них не было никакого, и я продолжал проживать капитал, оставшийся от периода удач, который завершился в 1932 году. Я решил написать книгу об угрозе войны, которая с каждым днем ощущалась все яснее. Книгу я озаглавил “Какая дорога ведет к миру?” и выразил в ней пацифистские взгляды, которые сложились у меня во время первой мировой. Правда, за одним исключением: я утверждал, что, если когда-либо будет создан всемирный парламент, его следует охранять от поползновений мятежников. Что же касается войны, угрожавшей нам в недалеком будущем, я по-прежнему отстаивал свободу совести.

Впрочем, то была уже не вполне искренняя позиция. Хотя и неохотно, я допускал возможность владычества кайзеровской Германии; мне казалось, что это, конечно, зло, но все же меньшее, чем мировая война и ее последствия, тогда как гитлеровская Германия — совсем другое дело. Нацисты были мне отвратительны и с моральной, и с рациональной точки зрения — жестокие, фанатичные и тупые. Хотя я и придерживался пацифистских убеждений, но это давалось мне все с большим трудом. Когда в 1940 году Англии угрожала опасность оккупации, я понял, что на протяжении всей первой мировой ни разу всерьез не допускал мысли о поражении. Мысль о нем была невыносима, и после серьезных размышлений я решил, что должен выступать в поддержку всего, что делается ради победы, как бы тяжело ни далась эта победа и каковы бы ни были ее последствия.

Таков был последний этап в долгом процессе отказа от тех убеждений, которые созрели у меня в 1901 году. Я никогда не был абсолютным приверженцем доктрины непротivления. Я всегда признавал необходимость существования полиции и закона и даже во время первой мировой публично заявлял о том, что некоторые войны оправданны. Но слишком сосредоточился на методах непротivления, точнее, ненасильственного непротivления, в большей мере, чем позволяли реальные условия. Можно привести удачные примеры непротivления, например триумф Ганди в Индии, возглавившего национальное движение против британского господства. Но оно всегда предполагает наличие определенного благородства тех, против кого используются эти методы борьбы. Когда индусы ложились на рельсы, британцы не могли допустить, чтобы они погибали под колесами. Но нацисты в подобной ситуации не колеблясь повели бы себя совсем по-другому. Учение Толстого о непротivлении злу насилием, обладавшее в свое время огромной убедительной силой, никак не применимо было к Германии после 1933 года. Ясное дело, Толстой был прав в отношении властей предержащих, не переступавших определенного порога жестокости, но нацисты этот порог переступили.

На перемену моих убеждений повлияло не только положение в мире, но и мой личный опыт. Работа в школе показала, что для того, чтобы защитить слабых от угнетения, нужна крепкая и твердая рука. Случаи вроде истории со шпилькой в супе нельзя оставлять безнаказанными, уповав на постепенное облагораживающее воздействие среды; тут нужно принимать немедленные и действенные меры. Во втором браке я, в соответствии со своими взглядами, пытался сохранить уважение к свободе жены. Однако понял, что моя способность прощать и то, что назы-

вается христианской любовью, не встречают ожидаемого ответа, и бессмысленное упорство в следовании этим принципам не принесет добра другим, а мне принесет одни лишь беды. Все это можно было предсказать заранее, но я был ослеплен теорией.

Не хочу преувеличивать. Перемена взглядов, происходившая с 1932 по 1940 год, не была революционной. То было количественное накопление и смещение акцентов. Никогда не разделяя полностью учения о непротивлении, я и не отвергал его. Но различие между оппозицией первой мировой войне и поддержкой второй было слишком велико, и смена концепций была неизбежна.

С тем, что осознал мой разум, чувства соглашались неохотно. Все мое естество противилось войне, а мое второе “я” говорило в ее пользу. Начиная с 1940 года я уже никогда не мог восстановить равновесие разума и чувства, которое было мне свойственно с 1914 по 1918 год. Полагаю, что единство ума и чувства достигалось больше за счет веры, нежели научной обоснованности моей тогдашней позиции. Следовать научному знанию, куда бы оно меня ни завело, всегда было моим главным моральным императивом, и я не изменил ему даже тогда, когда утратил дар, который принимал за духовное прозрение.

Полтора года мы с Патрицией Спенс, в которую я был тогда влюблен, работали над книгой “Записки Эмберли” — мемуарами о моих родителях, так мало проживших на свете. Для меня это была своего рода башня из слоновой кости. Мои родители не успели столкнуться с современными проблемами и до конца жизни верили, что мир идет в направлении добра. Отвергаемые ими дворянские привилегии тем не менее сохранялись, и родители, пусть неохотно, ими пользовались. Они жили в уютном, просторном мире, преисполненном надежд. Погрузиться в него было спасением для меня, а создание им памятника тешило мои сыновние чувства. Тем не менее я был бы неискренен, если бы сказал, что считал это действительно важным делом. Период творческого бесплодия закончился, пора было заняться чем-то не столь далеким от моих обычных интересов.

Следующий мой труд — “Власть. Новый социальный анализ”. В этой книге я писал, что даже в социалистическом государстве должна существовать область свободы, но эту область следует заново определить, и отнюдь не в либеральных терминах. Этой доктрины я придерживаюсь до сих пор. Этот тезис казался мне очень существенным, и я надеялся, что он привлечет больше внимания, чем это случилось. Книга задумывалась как опровержение и Маркса, и классической политэкономии, причем именно их фундаментальной основы. Я утверждал, что базовой категорией социальной теории должен стать не капитал, но власть, а социальная справедливость должна состоять в максимальном приспособлении власти к практической деятельности. Отсюда следовало, что государственная собственность на землю и капитал не будут двигать прогресс, пока государство не станет демократическим, причем при обязательном условии, что власть чиновников будет эффективно регулироваться. Мой тезис отчасти был использован и развит Бурнемом в его “Революции управления”, но в целом книга не вызвала заметного резонанса. Мне же и теперь кажется, что в ней содержатся очень важные вещи, которые помогли бы избежать зла тоталитаризма, особенно при социалистических режимах.

В 1936 году я женился на Патриции Спенс, а в 1937-м родился мой младший сын Конрад. Это было огромное счастье. Через несколько месяцев после его рождения мне удалось продать “Телеграфный дом”. Я уже несколько лет не получал никаких предложений, и вдруг поступило сразу два — от польского князя и английского бизнесмена. В течение суток, пользуясь конкуренцией, я поднял предлагавшуюся мне сумму до тысячи долларов. Победил бизнесмен, и я избавился от демона, терзавшего меня близостью краха с тех пор, как значительная часть моих денег растаяла.

Хотя из финансовых соображений я радовался продаже “Телеграфного дома”, мне было жаль с ним расставаться. Я любил его леса и долины и мою комнату в башне с видом на все четыре стороны. Я бывал здесь лет сорок или даже больше, видел, как расцветала усадьба благодаря усилиям моего брата. Она олицетворяла собой преемственность истории, которую — если не считать работы — я более всего ценю в жизни. Продав дом, я мог бы сказать, как известный аптекарь: “Не воля соглашается, а бедность”. С тех пор я долго не мог найти постоянного прибежища и частенько даже подумывал, что уже и не найду. О чем глубоко сожалел.

Закончив “Власть...”, я обратился к философии. В 1918 году во время тюремного заключения я заинтересовался проблемой значения, которую дотоле совершенно игнорировал. Я писал о ней в “Анализе сознания” и разных статьях тех лет, но я еще далеко не исчерпал тему. Логические позитивисты, с которыми я в большей мере совпадал во взглядах, как мне казалось, кое в чем ошибались, и эти ошибки могли привести к новой схоластике вместо эмпиризма. Они полагали область языка самодостаточной, не соотносящейся с внелингвистической реальностью. Когда меня пригласили прочитать курс лекций в Оксфорде, я выбрал предметом “Слова и факты”. Лекции легли в основу книги, опубликованной в 1940 году под названием “Исследование значения и истина”.

Мы купили дом в Кидлингтоне, недалеко от Оксфорда, и прожили там около года, но только одна оксфордская дама навестила нас. Мы были персонами *non grata*. Нечто подобное мы потом пережили в Кембридже. В этом смысле старинные храмы знания представляются мне уникальными. <...>

Америка. 1938–1944

В августе 1938 года мы продали дом в Кидлингтоне. Покупатели поставили условие, чтобы мы немедленно его освободили; таким образом, в нашем распоряжении оказалось полмесяца, которые надо было чем-то заполнить. Мы арендовали автофургон и провели каникулы на побережье в Пембрукшире — Патриция, я, Джон, Кейт, Конрад и большая собака Шерри. Все это время дождь лил как из ведра, и мы торчали в доме. Более неприятного отдыха я не припомню. Патриции пришлось готовить еду, а она этого терпеть не может. Наконец Джон и Кейт вернулись в Дарлингтон, а Патриция, Конрад и я поплыли в Америку.

Я вел в Чикаго большой семинар, на котором читал лекции на ту же тему, что и в Оксфорде, — “Слова и факты”. Мне сказали, что американцы не проявят к моим лекциям должного уважения, если я буду пользоваться короткими словами, поэтому я переименовал свой семинар, и теперь он назывался примерно так: “Корреляция оральных и соматических моторных навыков”. Под таким названием семинар был одобрен и доставил мне много удовольствия. В нем принимали участие Карнап и Чарльз Моррис и три студента с выдающимися способностями — Долки, Каплан и Копилович. Мы обговаривали предмет со всех сторон и достигали общего согласия, что редко случается на философских диспутах. Помимо семинара, ничто не радовало. Город ужасный, погода мерзкая. Президент университета Хатчинс, занимавшийся программой “Сто лучших книг” и пытавшийся внедрить на факультете неомизм, естественно, меня невзлюбил и, когда через год срок моего договора подошел к концу, с радостью отпустил.

Я получил место профессора в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. После блеклой невыразительности Чикаго, где еще длилась зима, оказаться в калифорнийском лете было счастьем. Мы приехали в Калифорнию в конце марта, а занятия у меня начинались в сентябре. Я использовал свободное время для чтения лекций. Мне отчетливо запомнились две связанные с этим вещи. Первая: профессора Луизианского университета, где я выступал, все как один очень высоко оценивали Хьюи Лонга, потому что он поднял им жалование. Вторая, очень приятная: меня отвезли на плотину Миссисипи. Я устал от лекций, переездов и жары. И вот лег на траву, смотрел на величавую реку, загнипотизированный водой и небом. Минут десять я наслаждался покоем, что крайне редко со мной бывает, и, пожалуй, только рядом с текучей водой.

Летом 1939 года Джон и Кейт приехали к нам в гости на каникулы. Через несколько дней после их приезда разразилась война, и отправить их в Англию стало невозможно. Пришлось немедленно решать вопрос об их образовании. Джону было семнадцать, и я устроил его в Калифорнийский университет, а Кейт только пятнадцать, слишком мало для университета. Я порасспросил друзей насчет школ Лос-Анджелеса, чтобы выбрать ту, где обучение соответствует самым высоким стандартам. Все называли мне одну и ту же, оказалось, что из преподававшихся там предметов Кейт не изучала только один. Таковы гримасы капиталистической системы. Таким образом, мне пришлось, несмотря на юный возраст Кейт, послать ее в университет. Весь учебный 1939/40 год Кейт и Джон жили с нами.

Летом 1939 года мы арендовали дом в замечательном месте Санта-Барбара. К сожалению, я повредил спину и вынужден был целый месяц неподвижно лежать в постели, мучаясь невыносимыми невралгическими болями. В результате я не мог заранее подготовиться к лекциям и весь последующий академический год работал с большой перегрузкой, но все-таки чувствовал, что мои лекции далеки от совершенства.

Атмосфера в тамошнем академическом кругу была гораздо менее приятной, чем в Чикаго; штат был хуже подобран, а президент вызывал у меня, думаю, вполне оправданное отвращение. Если лектор высказывался в либеральном духе, его автоматически считали не соответствующим должности и увольняли. На факультетские собрания президент яв-

лся в армейских ботинках и пресекал любые попытки сказать что-либо наперекор. Все дрожали, едва он хмурил брови, и эти собрания напоминали мне заседания рейхстага при Гитлере.

К концу академического года меня пригласили профессором в Нью-Йоркский городской колледж. Дело вроде было улажено, и я подал президенту Калифорнийского университета прошение об отставке. Через полчаса после того, как он его получил, я узнал, что мое назначение в Нью-Йорке зависло, и попросил президента отложить мое увольнение, но он сказал, что поздно. Честные христиане-налогоплательщики протестовали против того, чтобы их деньгами оплачивались услуги неверующего, и президент рад был избавиться от меня.

Городской колледж Нью-Йорка финансировался местными властями. Практически все студенты были католиками или иудеями; к негодованию первых, почти все стипендии шли последним. Городские власти находились под влиянием Ватикана, но профессора изо всех сил стремились сохранять хотя бы видимость академических свобод. Несомненно, потому они и рекомендовали меня. Против моей кандидатуры выступил англиканский епископ, а приходские священники убеждали местных полицейских, почти сплошь ирландских католиков, в моей причастности к росту преступности. Одна дама, чья дочь посещала колледж и которую я знать не знал, подала судебный иск, утверждая, что мое присутствие в этом учебном заведении опасно для добродетели ее дочери. Это был иск не против меня, а против нью-йоркского муниципалитета. Я попытался выступить ответчиком, но мне заявили, что это дело меня не касается. Муниципалитет, номинально выступавший ответчиком, был не менее заинтересован в том, чтобы проиграть процесс, чем истица выиграть его. Обвинитель назвал мои работы "распутными, похотливыми, сладострастными, эротоманскими, вредными, узколобыми, ложными и наносящими урон общественной нравственности". Судья-ирландец решил дело в пользу истицы и разразился филиппикой в мой адрес. Я хотел подать апелляцию, но муниципалитет отказался. Обо мне говорили фантастические вещи. Например, что я — порочный тип, который утверждает, что очень маленьких детей нельзя наказывать за мастурбацию.

Против меня организовали настоящую американскую охоту на ведьм, и я стал персоной non grata по всей стране. Предполагалось, что я прочитаю несколько циклов лекций, но вышло так, что до развязывания этой кампании я успел заключить только один договор. Раввин, с которым я его заключил, расторг контракт, и я его не виню. Хозяева аудиторий, в которых я должен был выступать, отказывались предоставлять их, а если бы я рискнул появиться перед публикой, меня, наверно, линчевала бы толпа католиков при полном попустительстве полиции. Ни одна газета, ни один журнал не печатали моих статей, и я неожиданно оказался без средств к существованию. Получалось, что я не мог законным путем зарабатывать на жизнь за пределами Англии, что ставило меня, имевшего троих детей, в трудное положение. Многие либерально настроенные профессора выразили свой протест, но и они были уверены в том, что раз я граф, то наверняка имею наследственные владения и вполне состоятелен. Только один человек предпринял конкретные шаги — доктор Барнс, изобретатель аргироля¹ и основатель Фонда Барн-

1. Аргироль — медицинский препарат.

са, находившегося неподалеку от Филадельфии. Он предоставил мне возможность пять лет читать лекции по философии в его Фонде. У меня камень с души свалился. Пока я не получил этого предложения, я не видел никакого выхода. В Англию возвращаться было нельзя — я не хотел везти детей прямо в военное пекло, да и денег на дорогу у меня не было: вне Англии заработать не представлялось возможным. Оставалось только забрать детей из университета и жить на подаяния друзей. От этой мрачной перспективы и спас меня доктор Барнс.

Лето 1940 года запомнилось контрастом между ужасами общественной жизни и удовольствиями частной. Лето мы провели в горах Сьерры, на озере Упавшего Листа возле озера Тахо, в одном из самых дивных мест, которые мне довелось повидать. Озеро располагается на высоте шести тысяч футов над уровнем моря, и большую часть года здесь лежит снег, поэтому места эти необитаемы. А три месяца в году сияет солнце, тепло, но не слишком жарко, на горных лугах расцветают экзотические цветы, и воздух напоен ароматом сосен. Мы жили в бревенчатом доме в сосновой роще, рядом с озером. Конрад с няней спали в доме, а мы на веранде. Мы совершали долгие прогулки к водопадам, горным вершинам, озерам, откуда можно было нырять в воду, которая была достаточно теплой. У меня был маленький кабинетик, размером с сарайчик, где я закончил работу над книгой "Исследование значения и истины". Иногда было так жарко, что я писал совсем раздетый. Вообще я от жары не страдаю, во всяком случае мне никогда не бывает слишком жарко, чтобы работать.

Среди всех этих удовольствий мы каждый день ждали новостей: не началось ли вторжение в Англию, стоит ли еще Лондон? Почтальон, веселый парень с юмором слегка садистского свойства, явившись однажды утром, громко возвестил: "Слыхали новости? Лондон разрушен, ни одного дома не осталось!" Мы не знали, верить ли ему. Долгие прогулки и купанье в озерах отвлекали от тягостного ожидания, а в сентябре стало ясно, что Англия не будет оккупирована.

Жители Сьерры представляли собой единственное известное мне бесклассовое общество; почти все дома занимали университетские профессора, а подсобные работы выполняли студенты университетов. Например, продукты нам доставлял молодой человек, которому я зимой читал лекции. Многие студенты приезжали на каникулы — в таком девственном месте это обходилось им очень дешево. Американцы куда больше европейцев преуспели в туристическом бизнесе. Многие дома стояли близко к берегу озера, но с воды их не было видно — они прятались в соснах. И сами дома, очень крепкие, были сложены из сосновых бревен. Настоящая живая сосна выросла в угол нашего дома, и я все думал: что с ним будет, когда дерево вырастет?

Осенью 1940 года я читал в Гарварде лекции об Уильяме Джеймсе. Курс был запланирован до нью-йоркских неприятностей. Возможно, Гарвард пожалел о нашей договоренности, но если и так, мне об этом из вежливости не сообщили.

Мое сотрудничество с доктором Барнсом началось в Нью-Йорке в 1941 году. Мы арендовали ферму милях в тридцати от Филадельфии, очаровательный домик, которому было лет двести, в холмистой местности, напоминающей ландшафт Дорсетшира. При доме был сад, старый сарай и три персиковых деревья, которые приносили огромный урожай

вкуснейших плодов. Там были поля, река и живописные рощи. В десяти милях от нас находилась конечная станция филладельфийской пригородной железной дороги, называлась она (в честь корсиканского патриота) Паоли. Оттуда я ездил поездом в Фонд Барнса, где читал лекции по философии в его галерее современной французской живописи, по большей части изображавшей обнаженную натуру, что не вполне соответствовало предмету изложения.

Доктор Барнс был человеком странным. У него жила собака, которую он обожал, и жена, которая обожала его. Ему нравилось покровительствовать цветным, он относился к ним как к равным, при том что был абсолютно уверен, что это не так. Изобретение аргироля принесло ему несметное богатство. Когда интерес к аргиролю достиг пика, он продал патент и все деньги вложил в ценные бумаги. Потом сделался знатоком искусства. Собрал замечательную коллекцию французских картин и преподавал эстетику. Любил лезть и вечно со всеми ссорился. Меня предупредили, что люди ему быстро надоедают, поэтому я отвоевал у него пятилетний контракт. 28 декабря 1942 года я получил от него письмо, что с 1 января контракт расторгается. Таким образом, я опять оказался на пороге нищеты. Правда, у меня имелся договор, и адвокат, с которым я консультировался, увсрил меня, что я несомненно смогу получить по суду неустойку. Но для этого требовалось время, особенно в Америке, а пока надо было на что-то жить. Подобную же историю поведал о Барнсе в своей книге Корбюзье. Корбюзье приехал читать лекции и захотел посмотреть галерею Барнса. Он обратился к нему письменно за разрешением, на что получил очень недружелюбный ответ. Доктор Барнс сообщал, что визит может состояться в девять утра в определенное воскресенье и ни в какое другое время. Корбюзье написал еще раз, отметив, что расписание лекций не позволяет ему прибыть в указанное время. Доктор Барнс отозвался крайне резким письмом: либо в это время, либо никогда. Тогда Корбюзье отправил длинное письмо, опубликованное в упомянутой книге, где писал, что он не прочь иной раз поссориться, но предпочитает ссориться с теми, кто придерживается противоположных воззрений на искусство, но поскольку с доктором Барнсом их объединяют общие взгляды на современное искусство, будет жаль, если они не сумеют договориться. Доктор Барнс не стал читать это послание и возвратил его с пометкой крупными буквами на конверте: "Merde".

Когда мой иск дошел до суда, доктор Барнс заявил, что я неудовлетворительно выполнял свою работу и мои лекции оказались слишком поверхностными. Они составили первые две трети моей "Истории западной философии", и я вручил рукопись судье, хотя не надеялся, что он ее прочтет. Доктор Барнс пожаловался на мое отношение к людям, которых сам называл "питекантропами" и "пустоголовыми", о чем я уведомил судью и выиграл процесс. Доктор Барнс, конечно, по своему обыкновению, оспорил решение суда, так что деньги я получил, только вернувшись в Англию. Тем временем он послал перечень моих грехов всему преподавательскому составу Тринити-колледжа, чтобы упредить мое возвращение на прежнее место. Я этого документа не читал, но не сомневаюсь, что это было достойное сочинение.

В первые месяцы 1943 года я испытывал нужду в средствах, но не в такой степени, как опасался. Мы сдали нашу ферму вподнаем и переселились в хижину, предназначавшуюся для цветных работников. Там было три комнаты и три печи, каждую из которых надо было растапливать чуть ли не каждый час. Одна служила для обогрева, вторая — для приготовления еды и третья — чтобы греть воду. Конрад мог слышать каждое слово из наших разговоров с Патрицией, а у нас было немало тем для обсуждения, которыми мы не хотели бы его волновать. Но к тому времени скандал в Нью-Йоркском колледже затих, и я стал получать разовые предложения на чтение лекций в Нью-Йорке и других городах. Мораторий нарушило приглашение от профессора Уайсса из колледжа Брин-Мор. Это потребовало от него немалого мужества. Как-то раз я так обеднел, что у меня хватило денег лишь на билет до Нью-Йорка, а за обратный пришлось заплатить из гонорара за лекцию. “История западной философии” была почти закончена, и я обратился к своему американскому издателю Нортону с просьбой об авансе. Он ответил, что из любви к Кейт и Джону и ради нашей дружбы он выплатит мне пятьсот долларов. Я решил, что, может быть, удастся достать побольше в другом месте, и обратился к Саймону и Шустеру, с которыми не был лично знаком. Они сразу согласились заплатить две тысячи и еще тысячу через полгода. В это время Кейт была в колледже Рэдклифф, а Джон в Гарварде. Я боялся, что из-за недостатка средств им придется прервать учебу, но благодаря Саймону и Шустеру этого не случилось. Мне помогли и деньги, одолженные друзьями, которые, к счастью, я отдал довольно скоро.

“История западной философии”, которую я начал писать случайно, многие годы служила основным источником моих доходов. Принимаясь за нее, я не подозревал, что она станет самой удачной книгой из всего, что я написал, и на некоторое время даже возглавит в Америке список бестселлеров. А пока я погружался в стародавние времена, Барнс объявил, что более во мне не нуждается. Несмотря на это, моя работа казалась мне интересной, особенно в той ее части, в которой я прежде был не силен, — раннее Средневековье и иудейская философия до Рождества Христова. Я благодарен колледжу Брин-Мор за возможность пользоваться их великолепной библиотечкой, тем более что я нашел там бесценный труд преподобного Чарльза, который опубликовал переводы древнееврейских авторов, живших незадолго до нашей эры.

Я с удовольствием писал эту книгу, потому что всегда считал — исторические сочинения должны быть пространными. К примеру, то, о чем писал Гиббон, не могло быть адекватно изложено на меньшем количестве страниц. Начало “Истории западной философии” я рассматриваю как историю культуры, а последующие части, где существенное место занимает наука, мне уже трудно было вписать в эти рамки. Я старался как мог, но не уверен, что преуспел. Рецензенты упрекали меня в том, что я написал не истинную историю, а представил тенденциозный свод искусственно выбранных событий. Но на мой взгляд, не имея тенденции — если такое вообще возможно, — нельзя написать интересную историю. Попытка сохранять объективность — всего лишь трюк. Книгу, как и любое другое произведение, делает таковой именно тенденция. Вот почему сборник статей различных авторов всегда менее интересен, чем целостный текст одного человека. Поскольку я не верю в существование

автора вне тенденции, то считаю, что залогом успеха в создании исторической книги является откровенное признание им своей тенденциозности, а недовольным предоставляется право искать выразителей иной тенденции. Чья тенденция окажется ближе к истине, рассудит будущее. В свете вышесказанного мне больше импонирует “История западной философии”, чем “Мудрость Запада”¹, которая была переложением первой, но приглаженным и упрощенным. Хотя мне нравятся иллюстрации в “Мудрости Запада”.

Последний период нашего пребывания в Америке прошел в Принстоне, в маленьком домике на берегу озера. В Принстоне я довольно близко познакомился с Эйнштейном; раз в неделю я приходил к нему, и мы вели дискуссии с Геделем² и Паули³. Эти дискуссии оставили неприятный осадок, потому что, хотя все трое были евреями-иммигрантами, космополитами по духу, в метафизике они склонялись к немецкому типу мышления, и нам, несмотря на все старания, не удалось найти общий фундамент, на котором можно было бы дискутировать. Гедель оказался правоверным платоником и, очевидно, верил в то, что вечный нус⁴ ожидает добродетельных логиков на небесах.

Принстонское общество в целом было гораздо приятнее, чем любое другое научное сообщество в Америке. К этому времени Джон вернулся в Англию и поступил в морской флот, но собирался изучать впоследствии японский язык. Кейт успешно училась в Рэдклиффе и немножко зарабатывала преподаванием. Меня больше ничто не удерживало в Америке, разве что трудности в получении разрешения на въезд в Англию. И эти трудности долгое время были непреодолимыми. Я поехал в Вашингтон и заявил, что должен исполнять свои обязанности в палате лордов, пытаясь убедить соответствующие органы в искренности моего стремления. Наконец я нашел аргумент, который удовлетворил британское посольство. Я сказал им: “Вы признаете, что война ведется против фашизма?” — “Да”, — сказали они. “Тогда вы должны признать, — продолжил я, — что сущность фашизма заключается в попрании закона власти”. — “Да”, — сказали они, но уже с меньшей уверенностью. “Так вот, — сказал я, — вы — власть, а я представитель закона, и если вы хоть еще один день будете препятствовать мне в отправлении моих обязанностей, вы фашисты”. Под общий смех мне немедленно выдали разрешение на отплытие. Однако оставалось еще одно смехотворное препятствие. Мы с женой попали в привилегированную категорию А, а наш сын Конрад, не будучи представителем закона, — в категорию Б. Естественно, нам хотелось, чтобы семилетний Конрад ехал вместе с матерью. Но это означало, что ей придется согласиться на категорию Б. До сей поры никто еще не изъявлял желания добровольно перейти в низшую категорию, и чиновникам потребовалось несколько месяцев, чтобы переварить этот казус. Наконец были установлены даты отъезда, сначала для Патриции и Конрада, а через полмесяца и для меня. Мы отплыли в мае 1944 года. <...>

1. Сочинение Бертрана Рассела.

2. Курт Гедель (1906–1978) — логик, математик; род. в Австро-Венгрии, с 1940 г. — в США.

3. Вольфганг Паули (1900–1958) — швейцарский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.

4. Нус (греч. νους — мысль, разум) — дух, интеллект, мировая душа в философии Анаксагора; «мыслящая душа», а также демиурга в философии Платона.

Часть третья. Последние годы. 1944—1969

[226]

ИЛ 12/2000

Возвращение в Англию

Плавание по Атлантическому океану в первой половине 1944 года было делом непростым. Патриция и Конрад путешествовали на “Куин Мэри” с большой скоростью, но с крайними неудобствами. Судно было заполнено матерями с детьми; мамы сетовали на чужую ребятню, но детвора — и своя, и чужая — доставляла беспокойство всем, и нужен был глаз да глаз — чтобы кто-нибудь не свалился за борт. Обо всем этом я узнал, только добравшись до Англии. Меня отправили с большим конвоем, который величественно двигался со скоростью велосипеда в сопровождении сторожевых судов и аэропланов. У меня была при себе рукопись “Истории западной философии”, и несчастным цензорам пришлось прочесть ее от корки до корки на предмет обнаружения информации, полезной для врага. В конце концов они удостоверились в бесполезности философского знания для немцев и очень вежливо убеждали меня, будто чтение моей книги доставило им удовольствие, во что, признаюсь, мне трудно было поверить. Все было окутано секретностью. Мне не разрешили сообщить друзьям, когда я отплываю и из какого порта. Наконец меня посадили на корабль компании “Либерти”, отправлявшийся в свое первое плавание. Капитан, веселый парень, подбадривал меня, говоря, что не более одного судна из четырех, принадлежащих этой компании, трещат по швам по выходе из порта. Стоит ли уточнять, что корабль был американский, а капитан — британец. К моему удивлению, один из офицеров, старший механик, прочитал “Азбуку теории относительности”, не зная, кто ее автор. Однажды, когда мы с ним прогуливались по палубе, он начал распространяться о достоинствах этой книги, и когда я сказал, что это я ее написал, его радости не было предела. Другого пассажира, бизнесмена, офицеры невзлюбили; они считали, что по возрасту ему полагалось бы воевать. Но мне его общество было приятно, и целых три недели мы вместе наслаждались бездельем. Пока мы не приблизились к берегам Ирландии, риска напороться на подводную лодку не было, зато потом нам велено было ложиться спать не раздеваясь. Впрочем, опасность нас миновала. За несколько дней до окончания нашего путешествия мы узнали по радио о высадке союзников в Нормандии. Выслушать эту новость собралась почти вся команда. Я узнал, как будет по-английски “Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrive”¹.

В воскресенье мы с трудом пристали в маленьком городке на северном побережье Шотландии — то было мое первое впечатление от Британии военного времени. В городе, похоже, не было никого, кроме польских солдат, которые вели себя очень галантно по отношению к женскому полу, и шотландских девушек, не помнивших себя от счастья. Я сел в ночной поезд на Лондон, приехал туда ранним утром и долго не мог найти Патрицию и Конрада. Наконец, после бесконечных телефонных звонков и телеграмм, обнаружилось, что они в Сидмуте и у Конра-

1. «Вперед, отечества сыны...» — начальные слова Марсельезы.

да воспаление легких. Я немедленно бросился туда; к великому моему облегчению, Конрад уже шел на поправку. Мы сидели на берегу, прислушиваясь к залпам корабельных орудий, доносившимся со стороны Шербура.

Тринити-колледж пригласил меня читать лекции на пятилетний срок, и я принял приглашение. Соответственно я получал звание и жилье на территории университета. Я поехал в Кембридж; квартира оказалась прелестной, окна выходили на зеленую лужайку, поросшую цветами. Приятно было увидеть, что красоты Кембриджа несколько не пострадали; мирный вид Грейт-Корт был до неправдоподобия благостным. Но мне следовало устроить куда-нибудь Патрицию и Конрада. Кембридж был невероятно перенаселен, и самое лучшее, что мне удалось найти для семьи, — убогие меблированные комнаты. Я жил в роскоши в колледже, а мои близкие ютились в жалкой лачуге. Как только выяснилось, что вскоре я получу деньги по иску против Барнса, я купил в Кембридже дом.

Именно в этом доме мы встретили день победы и последовавшие за тем всеобщие выборы. Там же я написал книгу “Человеческое познание. Его сфера и границы”. В Кембридже я был счастлив, но тамошние дамы смотрели на нас косо. Вскоре я купил небольшой домик с прелестным видом в Фестиньогге, в Северном Уэльсе. Потом мы сняли квартиру в Лондоне. В те годы я много ездил с лекциями по континенту, но не сделал ничего существенного. В 1949 году моя жена решила, что я ей больше не нужен, и наш брак распался.

В 40-е и в начале 50-х годов меня очень волновали проблемы, связанные с ядерным оружием. Мне было очевидно, что ядерная война положит конец цивилизации. Ясно было и то, что, если в политике как Востока, так и Запада не произойдут перемены, рано или поздно ядерная война будет развязана. Эти страхи сидели у меня в голове с начала 20-х. Но тогда, несмотря на то, что некоторые физики чувствовали приближающуюся угрозу, большинство людей, причем не только простых людей с улицы, но и ученых, не хотели о ней думать, успокаивая себя тем, что, мол, до такой глупости человечество не дойдет. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году впервые привлекли внимание ученых, а также некоторых политиков к проблеме атомной войны. Спустя несколько месяцев после бомбардировки этих японских городов я выступил с речью в палате лордов, указав на реальную угрозу ядерной войны и ее последствий для всего мира. Я предсказал производство более мощных ядерных боеголовок, чем те, что были использованы при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Пока еще не началась гонка вооружений, которой я так опасался, можно было установить контроль над этим монстром и использовать его в мирных целях. Мне аплодировали, никто из членов палаты не назвал мои страхи преувеличенными, но все они единодушно признали, что это проблема, которую придется решать их внукам. Сотни тысяч погибших в Японии не убедили их в том, что Британия избежала подобной участи лишь по счастливой случайности и что в следующей войне ей вряд ли так повезет. Никто не видел в этом всеобщей угрозы, которую можно было бы предотвратить за счет договоренности великих держав. <...> Тогда я верил, что планировать действия и действовать, чтобы остановить приближающуюся опасность, необходимо сразу, едва она замаячит на горизонте, и еще больше я верю в это теперь. <...>

Когда решался берлинский вопрос, правительство направило меня в Берлин, чтобы убедить жителей города оказать сопротивление русским, пытавшимся вытеснить оттуда союзников. Это был первый и последний случай в моей жизни, когда я изображал из себя военного. Меня включили в состав вооруженных сил и выдали мне военный билет, что меня весьма позабавило.

Я много выступал в разных службах Би-би-си; в частности, меня попросили выступить по случаю смерти Сталина. Я с радостью отозвался на это предложение, потому что считал Сталина страшнейшим злодеем, главным виновником нищеты и инициатором террора в России, которая теперь всем этим угрожала миру. Я заклеил тирана в своей речи и поздравил всех с его уходом со сцены. Я говорил, забыв обо всякой осмотрительности, о всех приличиях. Эта передача так и не вышла в эфир.

После Германии правительство направило меня в Норвегию — убеждать норвежцев присоединиться к союзу против России. Место моего назначения называлось Тронхейм. Погода была холодная, штормовая. Из Осло в Тронхейм надо было лететь на гидроплане. Когда гидроплан сел на воду, мы почувствовали неладное. Он стал медленно погружаться в пучину. Нам велели прыгать в море и плыть к лодке, все пассажиры моего отсека так и сделали. Потом мы узнали, что девятнадцать пассажиров из салона для некурящих погибли. Едва коснувшись воды, гидроплан получил пробоину, куда хлынула вода. Я попросил приятеля, который провожал меня в Осло, подсказать, где можно курить в самолете, и шутливо заметил: “Если нельзя будет курить, я помру”. Шутка оказалась вещей. Пассажиры салона для курящих выбрались через аварийный выход, возле которого находилось мое место. Мы доплыли до лодок, державшихся в отдалении, иначе их могло затянуть в воронку от тонувшего гидроплана. Нас доставили на берег в нескольких милях от Тронхейма и отвезли на машине в отель.

Меня встретили очень сердечно и уложили в постель, пока сохла одежда. Студенты даже сушили мои спички поштучно. На вопрос, чего бы мне хотелось, я ответил: “Хорошую порцию бренди и большую чашку кофе”. Появившийся вскоре доктор подтвердил правильность ответа. Было воскресенье, в этот день в Норвегии запрещается подавать в отелях спиртное, о чем я тогда не знал, но поскольку выпивка требовалась по медицинским показаниям, возражений не последовало. Забавную нотку внес в ситуацию священник, снабдивший меня на время сушки одежды церковным облачением. Меня засыпали вопросами. Один вопрос прозвучал по телефону из Коненгагена: “Находясь в воде, размышляли ли вы о мистицизме и логике?” — “Нет”, — ответил я. “А о чем же вы размышляли?” — настаивал звонивший. “О том, что вода холодновата”, — ответил я и повесил трубку.

Лекцию мою отменили, поскольку руководитель агитационной кампании утонул.

Я был поражен суетой, которая поднялась вокруг меня в связи с этим происшествием. Мою роль сильно преувеличивали. Я проплыл примерно сотню ярдов, но все были убеждены, что несколько миль. Правда, я плыл в пальто, потерял шляпу и портфель. В тот же день мне его возвратили — я пользуюсь им по сей день, — причем его содержимое было высушено. Когда я вернулся в Лондон, чиновники с улыбкой смот-

рели на мой паспорт, носивший на себе следы пребывания в морской воде. Он лежал в портфеле.

Прибыв в 1944 году в Англию, я обнаружил, что отношение ко мне переменилось. Я снова наслаждался свободой дискуссий, невозможной в Америке. Там, если нас останавливал полицейский, мой сын ударялся в слезы; примерно так же реагировали университетские профессора, когда полицейские их обвиняли в превышении скорости. Англичане, которые никогда и ни в чем не бывают фанатичны, излечили и меня от фанатизма; я наслаждался, чувствуя себя дома. Это чувство еще более окрепло в конце 40-х, когда меня пригласили на Би-би-си прочесть курс лекций — раньше ко мне относились как к вредителю, которого нельзя подпускать к молодежи. Атмосфера свободной дискуссии повлияла на выбор темы курса, которую я обозначил так: “Власть и личность”. Под этим названием мои лекции были опубликованы в 1949 году; речь шла главным образом о сужении зоны индивидуальной свободы в условиях индустриализации. Несмотря на признание подобной опасности, и тогда, и позже очень мало было сделано, чтобы нейтрализовать зло.

За несколько лет до того, как я прочел этот курс, мой старый друг профессор Уайтхед получил орден “За заслуги”. В начале 50-х я приобрел столь великий вес в глазах общественности, что меня тоже представили к такой награде. Я был счастлив. Несмотря на то, что многие мои соотечественники, несомненно, чрезвычайно удивятся, услышав это, признаюсь, я страстный патриот и высоко ценю честь, оказанную мне главой моей страны. Для вручения награды надо было прибыть в Букингемский дворец. Король был очень любезен, но явно испытывал неловкость от того, что должен был оказывать милости такой сомнительной личности с тюремным прошлым. Он заметил: “Вы не всегда вели себя как принято”. Я рад, что сдержался и не выпалил то, что просилось на язык: “Как и ваш брат”. Но поскольку он имел в виду свободу совести, я не мог оставить его реплику без ответа. Я сказал: “Человек должен вести себя сообразно своей профессии. Почтальону, например, приходится стучать во все двери подряд, но если бы стучать во все двери принялся кто-нибудь другой, его сочли бы возмутителем общественного спокойствия”. Чтобы избежать неприятного ответа, король резко сменил тему и спросил, знаю ли я единственного человека, являющегося кавалером ордена Подвязки и одновременно ордена “За заслуги”. Я не знал, и он милостиво сообщил, что это лорд Портал. Я не стал говорить, что это мой кузен. <...>

Когда в конце 1950 года меня пригласили в Стокгольм для вручения Нобелевской премии — к моему удивлению, по литературе, за книгу “Брак и нравственность”, — я поехал туда с опаской, потому что, сколько мне помнилось, как раз триста лет назад Декарт по приглашению королевы Христины приехал в Скандинавию тоже зимой и умер от простуды. Мы, однако, жили в тепле и уюте, а вместо снега шел дождь, и это даже слегка разочаровывало. Церемония была хотя и пышная, но приятная, и мне она поправилась. За обедом моей соседкой оказалась мадам Жолио-Кюри, и мы очень интересно побеседовали. Вечером во время банкета, который устраивал король, мне сообщили, что он желает поговорить со мной. Он сказал, что хочет, чтобы Швеция объединилась с Норвегией и Данией против России. Я ответил, что в случае войны России с Западом

русские могли бы войти в норвежские порты только через шведскую территорию. Король согласился с моим мнением. <...>

1950 год, начавшийся с вручения мне ордена “За заслуги” и закончившийся Нобелевской премией, ознаменовал апогей моей респектабельности. У меня даже возникло легкое опасение, как бы не попасть в правоверные. Я всегда придерживался мнения, что уважаемые персоны порочны по определению, но мое моральное чувство настолько притупилось, что я не мог понять, чем же я согрешил. Почет и увеличившийся благодаря продажам “Истории западной философии” доход вселили в меня ощущение свободы и уверенности, что, в свою очередь, помогло мне направить энергию в желаемое русло. Я стал подозревать, что преувеличивал мрачность перспектив, ожидающих человечество, и решил, что пора написать книгу, где бы спорные вопросы получили более оптимистичное решение. Я назвал эту книгу “Новые надежды в меняющемся мире”, и там я рассмотрел наиболее благоприятные из возможных перспектив. Я не взял на себя смелость предсказывать, какой вариант развития событий наиболее вероятен, лишь подчеркнул, что невозможно знать заранее, худом или добром обернется дело. <...>

Тем не менее мое беспокойство росло. Мне не удавалось заставить соплеменников увидеть грозящие человечеству опасности, и это тяжким грузом ложилось на мою душу. Может быть, боль обостряла радости, выпадающие мне на долю, но сама боль не уходила. Я чувствовал, что “Новые надежды в меняющемся мире” требуют тщательного пересмотра, — это я и сделал в книге “Человеческое общество в свете этики и политики”.

Я обратился к этике, потому что меня часто упрекали в том, что, критически обзрев другие области знания, я не коснулся этических вопросов, если не считать раннего очерка, где я толковал книгу Мура “Principia Ethica”. Я отвечал, что этика не является наукой. <...>

Главной моей мыслью была та, что этика есть производное от страстей, а путь от страсти к поступку нельзя определить как истинный или ложный. Критики обвиняют меня в излишней рациональности, но это не совсем так. Реальное различие между страстями оценивается с точки зрения их эффективности. Некоторые страсти ведут к успеху в достижении желаемого, другие — к поражению. Если в вас преобладают первые, вы будете счастливы; если вторые — несчастны. Таково, по крайней мере, общее правило. Это может показаться слишком слабым результатом исследования таких возвышенных понятий, как “долг”, “самоотверженность” и прочее, но я убежден, что это единственный значимый итог за исключением того, что для каждого из нас человек, который ценою самоограничения приносит счастье многим людям, — более достойная личность, чем тот, кто приносит несчастье другим, а счастье лишь себе самому. У меня нет никакого рационального обоснования этой точки зрения, как и того, что желание большинства предпочтительней желания меньшинства. Это истинно этические проблемы, и я не знаю иных способов их решения, кроме политики и войны. Все, что я могу сказать по этому поводу, заключается в том, что этические соображения могут подкрепляться только этической аксиомой, но если аксиомы не существует, прийти к разумному выводу нельзя. <...>

Несмотря на то, что эта книга получила отзывы, о которых можно было только мечтать, никто не отнесся всерьез к тому, что в ней было

наиболее существенным — к невозможности примирить нравственные чувства с этическими доктринами. Мысль об этом постоянно бродила в глубинах моего сознания. Я пытался разбавить свои соображения легкими материями, историями с элементами фантазии. Многим мои истории показались забавными, кое-кому — изысканными, но почти никто не увидел в них пророчества. <...>

Когда в 1944 году я вернулся из Америки, мне показалось, что британская философия пребывает в очень странном состоянии и занимается исключительно тривиальными вещами. Все только и делали, что разглагольствовали об “обыденном употреблении языка”. Мне такая философия пришлась не по вкусу. У каждой отрасли знания свой словарь, и я не понимаю, почему философии должно быть в этом отказано. Я написал скетч, в котором издевался над культом “обыденного употребления”. Когда скетч вышел в свет, я получил письмо от одного из заядлых сторонников этого направления, в котором тот писал, что всецело разделяет мой пафос, только не понимает, против кого он направлен, ибо ничего не знает о существовании такого культа. Как бы то ни было, я заметил, что с тех пор об “обыденном употреблении” стали говорить гораздо меньше.

Перелистывая свои книги сегодня, я замечаю, как часто для усиления воздействия прибегал в них к ипосказаниям. Недавно, например, я наткнулся на такой пассаж во “Влиянии науки на общество”:

“Мне кажется важным указать на то, что столь распространившееся ныне сомнамбулическое отчаяние носит иррациональный характер. Люди пребывают в положении человека, карабкающегося на труднодоступную вершину, на которой расстилаются благодатные альпийские луга. С каждым шагом перспектива возможного падения становится все более мрачной; с каждым шагом нарастает усталость, и каждый шаг дается все труднее. И вот наконец до цели остается всего один шаг, но человек не знает об этом, потому что нависающие сверху камни мешают ему видеть. Утомление столь велико, что ему уже не хочется ничего, только отдохнуть. Ему кажется, что следующий шаг будет шагом к вечному покою. Надежда зовет: ‘Еще одно усилие — может быть, оно окажется последним.’ Сомнение паритует: ‘Глупец! Сколько раз ты слушался голоса надежды — и вот куда она тебя завела!’ Оптимизм говорит: ‘Покуда есть жизнь, есть и надежда’. Пессимизм бурчит: ‘Покуда есть жизнь, есть и боль’. Сделает ли человек последнее усилие или безвольно полетит в пропасть? Через несколько лет те из нас, кто будет живы, узнают ответ’”. <...>

Дома и за границей

Справиться с мрачными предчувствиями и опасениями последних двух десятилетий мне больше всего помогло то, что я полюбил Эдит Финч, а она — меня. Эдит дружила с Люси Доннели, которую я знал в начале века и с которой встречался, приезжая в Америку, в 30-е и 40-е годы с Эдит. Люси была профессором колледжа Брин-Мор, где преподавала и Эдит. У меня завязались дружеские связи с этим колледжем еще с тех пор, как я женился первым браком на кузине его президента. После смерти Люси Эдит переехала в Нью-Йорк, где мы и встретились, когда в 1950 году я читал лекции в Колумбийском университете.

Наша дружба очень быстро упрочилась, и вскоре мы уже не могли вынести разлуки. Эдит перебралась в Лондон, а я жил в Ричмонде, и мы часто встречались. Нам было на редкость хорошо вместе. Ричмонд-парк навевал множество воспоминаний, в том числе и детских. Они словно обновляли кровь, и мне казалось, что я заново переживаю свою жизнь. Радость помогала мне забыть о ядерной угрозе. Гуляя по Пембрук-лодж, Ричмонд-парку и Кью-гартенс, я вспоминал разные случаи из жизни. Фонтан возле Пембрук-лодж напомнил мне, как лакей, которому поручили излечить меня от страха перед водой, окунул меня головой в воду, держа за пятки. Вопреки современным взглядам на воспитание, этот метод оказался весьма эффективным: после первого же погружения я навсегда перестал бояться воды.

Нам с Эдит было что порассказать друг другу. Наша семейная история началась с моего праотца, который был доверенным лицом Генриха VIII и наблюдал в окно, когда подадут сигнал о смерти Анны Болейн в Тауэре. Следующей вехой была речь моего деда накануне битвы при Ватерлоо, содержащая требование не оказывать сопротивления Наполеону. Затем последовал его визит на Эльбу, где плененный Наполеон ущипнул его за ухо. <...>

Семейная сага Эдит показалась мне куда более романтической. Примерно в 1640 году кого-то из ее предков то ли повесили, то ли похитили краснокожие. Ее отец мальчиком пережил массу приключений среди индейцев, когда вместе с семьей жил жизнью пионеров в Колорадо; во время гражданской войны одни члены семьи оказались в стане южан, другие — северян. Среди них были два брата-генерала, один из которых принимал капитуляцию другого. <...>

Вскоре коллекция семейных преданий стала пополняться нашими собственными историями. Как-то утром во время прогулки по Кью-гартенс к нам бросился незнакомый мужчина, упал передо мной на колени и облобызал мне руку. Я онемел от изумления; Эдит, однако, раньше меня сумела прийти в себя и выяснила, что это был немец, живший в Англии, который таким образом за что-то меня благодарил. За что именно, мы так и не узнали. <...>

Эдит, хотя и не была специалисткой по философии и математике, знала нечто такое, в чем я был полным профаном. К тому же мы полностью сходились в отношении к людям и миру. Многое из того, что я сделал в дальнейшем, было сделано с ее помощью. <...>

Счастливые дни в Ричмонде омрачались порою неприятностями. На Рождество 1953 года мне пришлось лечь в больницу на серьезную операцию. В больнице я пробыл недолго, к маю почувствовал себя совсем здоровым и выступил в ПЕН-клубе с лекцией "История как искусство". После лекции секретарь клуба пригласил нас на ужин, и я всласть наговорился о своих литературных симпатиях и антипатиях. Я, например, терпеть не могу Вордсворта. Конечно, я признаю, что некоторые его произведения поистине замечательны, но большинство из них скучны, напыщенны и неумны. К сожалению, у меня дар легко запоминать плохие стихи, поэтому я могу поставить в тупик любого почитателя Вордсворта. <...>

Оглядываясь из сегодняшнего дня на то время, я удивляюсь, как много успевал сделать, даже если учесть, что работал почти сутками. Поездки

в Рим, Париж и Шотландию, семейные дела, переезд на лето в Северный Уэльс, масса писем, дискуссии, посетители, речи... Я написал бесчисленное количество статей, дал множество интервью, вел переписку с американцем Р. К. Маршем, который издавал мои ранние статьи (книга вышла под названием “Логика и наука”). К тому же я готовил к публикации в 1956 году свою книгу “Портреты по памяти”. В январе 1955-го я прочел лекцию о Джоне Стюарте Милле в Британской академии. Составить ее было непросто. Я уже не раз высказывался о Милле. Но в этой лекции была одна очень дорогая для меня фраза: сказав, что предложение имеет субъект и предикат, я заметил, что этот факт повлек за собой “ошибку длиной в три тысячи лет”. Лекция была воспринята с большим энтузиазмом. Мне аплодировали стоя. <...>

Трафальгарская площадь

Первая конференция ученых — участников движения за мир и разоружение, при поддержке Сайруса Итона¹ состоялась в начале июля 1957 года в Пагуоше (Канада). Я не смог присутствовать на ней из-за возраста и по слабости здоровья. В 1957 году мне пришлось пройти подробное медицинское обследование, чтобы выяснить, что именно не в порядке у меня с горлом. В феврале меня ненадолго положили в больницу, чтобы определить, нет ли у меня рака. Оказалось, что нет, но меня продолжали обследовать, и я жил на манной каше и прочей детской пище.

С тех пор я не раз ездил за границу, но ни разу не бывал в Пагуоше. Однако в 1958 году я посетил Пагуошскую конференцию в Австрии. После ее окончания мы с женой совершили путешествие на автомашине вдоль Дуная до Дурнштайна, который я мечтал увидеть с детства, когда бредил Ричардом Львиное Сердце. Потом мы вернулись назад в Вену. Это было похоже на путешествие в книжный мир моей юности; волшебная природа, доброта, простота и веселость людей меня обворожили. Возле одной деревни мы видели огромную липу, под которой жители деревни собирались поболтать вечерами и по воскресным дням. То было поистине волшебное дерево на волшебном лугу, буквально источавшее покой. <...>

Но вернусь к Пагуошской конференции. Пока работала первая конференция, я поддерживал с ней самую тесную связь, и вести, которые получал, меня радовали. Мы решили, что участвовать в ней будут не только физики, но также биологи и специалисты по общественным наукам. Всего участников было двадцать два — из Соединенных Штатов, Советского Союза, Китая, Польши, Австралии, Австрии, Канады, Франции, Великобритании и Японии. Заседания велись на английском и русском языках. Меня особенно радовало, что конференция продемонстрировала, как может быть достигнуто реальное сотрудничество — на которое мы и надеялись — ученых полярно противоположных “идеологий” и научных (не говоря о прочих) взглядов.

Конференция была названа Пагуошской, и ради обеспечения преемственности движение тоже стало называться Пагуошским. Был избран

1. Сайрус Итон (1883—1979) — американский промышленник; один из инициаторов Пагуошского движения ученых за мир, названного так в память о первой конференции, которая прошла в Пагуоше (Канада), месте рождения Итона.

постоянно работающий комитет из пяти человек для организации следующих конференций. Меня выбрали председателем. <...>

[234]

ИЛ 12/2000

Самым заметным достижением Пагуошского движения было участие в подготовке Договора о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. Сам я не вполне удовлетворен этим Договором, запрещающим только наземные испытания в мирное время. Мне кажется, что он скорее препятствует, чем способствует полному запрещению испытаний. Тем не менее он показал, что Запад и Восток могут сотрудничать ради достижения общих целей и Пагуошское движение может быть эффективным. Оно дало толчок всем последовавшим затем конференциям по разоружению, за работой которых мы теперь наблюдаем с изрядной долей скепсиса. <...>

В сентябре 1962 года состоялась очень представительная Пагуошская конференция в Лондоне. Я должен был рассказать об основании движения и предупредил друзей, что меня обязательно оштрафуют. Против ожиданий, аудитория встретила меня овацией. Это было мое последнее выступление на Пагуошской конференции. <...>

Чтобы отметить мой восемьдесят седьмой день рождения, мы проехали через Бат, Уэллс и Гластонбери в Дорсет. Мы посетили лебединый заповедник и сады в Эбботсбери, где нам посчастливилось увидеть павлиньи брачные танцы, — то был один из самых прекрасных и чарующих балетных спектаклей, которые я видел в своей жизни. Мы совершили сентиментальное паломничество в Рассел-хаус в Кингстоне, особняк XVIII века, где я никогда раньше не бывал. Жаль, что мне не пришлось там жить. Мне практически не свойственна зависть подобного рода, но прелесть Рассел-хауса тронула меня до глубины души. <...>

Движение гражданского неповиновения приобретало тем временем все более широкий масштаб. Группа молодых энтузиастов учредила Комитет ста. В феврале 1961 года он устроил сидячую демонстрацию перед министерством обороны, в которой приняли участие две тысячи человек. Предполагалось, что такие демонстрации будут устраиваться вновь и вновь, пока не приобретут действительно массовый характер. <...>

6 августа, в День Хиросимы, Комитет ста организовал два митинга — траурную церемонию с возложением венка возле Уайтхолла и митинг в Гайд-парке. На последнем полиция запретила нам пользоваться микрофонами. Но мы настроились обязательно использовать их — не только для того, чтобы нас было слышно, но и для манифестации гражданского неповиновения. Итак, я начал говорить в микрофон. Полисмен потребовал отключить его. Я игнорировал эту просьбу. Тогда он отобрал у меня микрофон. В ответ мы прервали митинг и объявили, что продолжим его на Трафальгарской площади. Что и было сделано. <...>

Месяц спустя, когда мы с женой возвращались из поездки в Северный Уэльс, у ворот дома нам преградил дорогу симпатичный и явно смущенный сержант полиции на мотоцикле. Он вручил нам обоим повестки, согласно которым нам надлежало явиться на Боу-стрит 12 сентября в связи с обвинением в подстрекательстве к массовому гражданскому неповиновению.

Мы поехали в Лондон, чтобы проконсультироваться с нашим адвокатом и поговорить с коллегами. У меня не было ни малейшего желания представлять себя мучеником, но я чувствовал, что этим случаем надо воспользоваться, чтобы обнародовать наши воззрения. Мы понимали,

что наш арест наделает много шума. Мы надеялись, что он вызовет симпатию к нам и к нашим действиям. Мы заручились медицинскими справками о недавно перенесенных серьезных заболеваниях: как считали наши доктора, длительное тюремное заключение было бы для нас убийственным. Наш адвокат был уверен, что поможет нам с женой избежать его. Но нам хотелось извлечь пользу из создавшейся ситуации, и поэтому мы проинструктировали его таким образом, чтобы он попытался добиться для нас заключения не дольше чем на месяц-другой. В результате нам дали по два месяца, а по ходатайству врачей срок был сокращен до одной недели.

Когда около 10.30 утра мы с нашими коллегами пробирались сквозь толпу зевак к зданию суда, Боу-стрит походила на арену цирка. Люди выглядывали из всех окон, многие из которых были уставлены горшками с цветами. По контрасту с этой декорацией сцена в зале суда напоминала гравюру Домье. Когда был оглашен приговор, раздались крики "Позор! Позор! Осудить восьмидесятивосьмилетнего старика!" Это меня рассердило. Я знал, что результат был предreshен, что я умышленно навлек на себя наказание, и уж во всяком случае не видел никакой связи между обвинением и моим возрастом. Если на то пошло, возраст лишь усугублял мою вину. Я был достаточно умудрен жизненным опытом, чтобы понимать, каковы будут последствия моих действий. Вообще суд и полиция отнеслись к нам в высшей степени почтительно. Перед началом разбирательства полисмен обшарил все здание в поисках подушечки для меня, чтобы не так жестко было сидеть на скамье подсудимых. К счастью, ничего такого не нашлось, но я благодарен ему за доброе намерение.

К полудню были заслушаны обе стороны. Мы с женой возвращались в Челси. Мы опять нырнули из здания суда прямо в толпу, из которой ко мне кинулась неизвестная дама и заключила в объятия.

На следующий день огласили приговор. По мере того как его зачитывали, осужденных в алфавитном порядке отправляли в камеры, где мы вели себя как расшалившиеся школьники — пели, рассказывали байки. Напряжение спало, и мы уже ничего не могли предпринять, только ждать, пока "черные мари" доставят нас к месту заключения.

Мне пришлось впервые путешествовать в "черной мари", потому что после последнего ареста меня везли в Брикстон на такси, но усталость не позволила мне насладиться новизной. Меня поместили в больничное крыло тюрьмы, и почти всю неделю я провел на больничной койке. Ежедневно меня навещал врач, который следил, чтобы я получал необходимую мне жидкую пищу. Никто не может привыкнуть к заключению, если только оно не спасает вас от чего-то еще худшего. Это опыт страшный. Самое меньшее зло — дурное обхождение и физические неудобства. Худшее — общая атмосфера, ощущение, что ты каждую минуту находишься под наблюдением, пронизывающий холод и мрак, специфический тюремный смрад — и устремленные на тебя глаза сокамерников. Мы всё это испытывали в течение только одной недели. И при этом знали, что нашим друзьям придется жить в этих условиях много дней и ночей, хотя нам самим удалось этого избежать только в силу определенных обстоятельств, а не потому, что наша вина, если уместно вообще говорить о какой-либо вине, меньше, чем их.

Тем временем Комитет ста выпустил листовку с моим посланием из Брикстона. На обороте был напечатан призыв собраться всем сочувствующим в 5 часов в воскресенье 17 сентября на Трафальгарской площади, чтобы участвовать в марше на площадь Парламента, где назначалась сидячая демонстрация. К нашему с женой сожалению, мы не смогли принять участие в этой акции, потому что нас освободили днем позже.

<...>

Из событий частной жизни самым важным было мое девяностолетие.

Должен признаться, что день рождения 18 мая я ожидал с трепетом душевным. Только потом я узнал о том, сколько сил приложили мои друзья, чтобы устроить в мою честь грандиозный концерт. Я сам удивился, как приятно было мне оказаться в центре такого теплого дружеского внимания.

Сам день рождения мы отмечали за чаем в семейном кругу, с двумя внуками. На столе красовался торт, украшенный одной свечой. Вечером был обед, организованный Альфредом Айером и Рупертом Кроуши-Уильямсом в кафе "Руайяль". Друзья говорили речи. Айер и Джулиан Хаксли¹ произнесли очень теплые слова, Э. М. Форстер припомнил былые дни в Кембридже.

На следующий вечер был назначен банкет в Фестивальном зале. Мне сказали, что там будет музыка, но я не ожидал, что это будет так славно; оркестром дирижировал Колин Дэвис, солировала Лили Краус.

Формальное празднование состоялось на следующей неделе в палате общин. Я нервничал, не надеясь, что члены палаты захотят оказать мне честь. Но обед прошел в очень теплой и дружеской обстановке.

Фонд

<...> Когда-то мне казалось, что открыть людям глаза на опасность — задача не из сложных. Я разделял общий предрассудок, что инстинкт самосохранения может пересилить любой другой довод.

Выяснилось, что я ошибался. Оказывается, люди заботятся не столько о собственном выживании — тем более о выживании человечества в целом, — сколько об уничтожении своих врагов. Мы живем в мире, над которым постоянно висит угроза всеобщей гибели. Я опять-таки думал и, впрочем, не разуверился в этом и по сию пору, что, если показать, сколь велик риск тотального уничтожения, можно добиться желаемого результата. Но как продемонстрировать эту очевидность? Я перепробовал множество способов, с разной степенью эффективности. Прежде всего я испробовал довод разума, сравнив атомную угрозу с угрозой чумы. Мне сказали: "Как это верно!", но никаких действий не последовало. Я пытался воздействовать на отдельные группы, но это не получило достаточного резонанса. Я обратился к массам с призывом устроить серию маршей, но мне заявили, что это скучно. Я, наконец, прибегнул к гражданскому неповиновению, но и эти акции не возымели должного эффекта. Теперь я предпринял новую попытку — обратиться с воззванием одновременно к правительствам и народам. Покуда я жив, я не пере-

1. Джулиан Сорелл Хаксли (1887—1975) — английский биолог, философ.

стану искать новые возможности для выполнения своей задачи и завещаю продолжить эту работу моим единомышленникам. Только вот откликнется ли должным образом на эти усилия человечество — сомнительно.

В течение многих лет я пытался помочь преследуемым меньшинствам и невинно осужденным. Не могу, однако, утверждать, что мой щит освободителя узников остался незапятнанным. Много лет назад ко мне обратился молодой немецкий еврей-беженец. Министерство внутренних дел было намерено выслать его из страны, а дома его ждала тюрьма. Он казался туповатым, но безвредным парнем. Я пошел вместе с ним в министерство. Там согласились не высылать его, но сказали, что ему требуется новый паспорт. Для этого он должен был ответить на ряд вопросов. “Кем был ваш отец? — Не знаю. — Кем была ваша мать? — Не знаю. — Где и когда вы родились? — Не знаю”. Чиновники не знали, что делать. О себе он мог сказать одно — что он еврей. Уступая моему упрямству, чиновники все же выдали ему новый паспорт. Последнее, что я услышал об этом парне — он нашел верный способ добывать деньги: для этого надо обрюхатить английскую девушку, после чего просить государственное пособие.

В другой раз ко мне обратился молодой поляк с просьбой защитить его от судебного преследования по обвинению в написании непристойных стихов. “Поэт в тюрьме! Не бывать этому!” — подумал я и опять пошел в министерство внутренних дел. Потом я прочел кое-что из этих стихов, нашел их отвратительными, и симпатии мои были на стороне тех, кто пытался приструнить автора. Но к тому времени он уже получил разрешение остаться в Англии.

Хотя мне неприятно вспоминать эти эпизоды, я не жалею о том, что сделал. Мне представляется абсурдным прятать людей за решетку за глупость, которая не несет в себе угрозы обществу. Если довести этот принцип до логического предела, мало кто останется на свободе. А борьба с непристойностью с помощью закона и угрозой тюремного заключения таит в себе больше вреда, чем пользы. Она просто окутывает зло и глупость флером запретного соблазна. По тем же причинам я категорически против заключения в тюрьму по политическим обвинениям. Посадить человека в тюрьму за политические взгляды — значит способствовать их распространению. Что, в свою очередь, увеличит человеческие бедствия и подстегнет насилие, вот и все. <...>

Постскриптум

Вся моя сознательная жизнь была посвящена двум разным предметам, долгое время остававшимся автономными и только в последнее время соединившимся в единое целое. С одной стороны, мне хотелось выяснить, можем ли мы достоверно познавать окружающий мир; с другой — сделать все, что в моих силах, для улучшения этого мира. До 28 лет я почти всю свою энергию направил на выполнение первой из этих задач. Обуреваемый скептицизмом, я невольно пришел к выводу, что то, что считается достоверным знанием, на самом деле сомнительно. Я жаждал достоверности, как другие жаждали религиозной веры. Мне казалось, что наиболее достоверно математическое знание. Однако обна-

ружилось, что многое в этой области, полагавшееся неоспоримым, страдает недостоверностью и что для достижения достоверности необходима новая математика, основывающаяся на более твердых принципах, нежели те, что до сих пор считались достаточными. По мере продвижения по этому пути я все чаще вспоминал басню о слоне и черепахе. Изваяв “слона”, на котором мог покоиться математический мир, я понял, что “слон” мой зашатался, и тогда я начал конструировать “черепаху”, которая удержала бы “слона” от падения. “Черепаха” оказалась не более надежной, чем “слон”, и после двадцати лет усердных трудов я пришел к выводу, что я не в силах сделать математику достоверной. Потом началась первая мировая война, и мои мысли сосредоточились на человеческом безумии и человеческих несчастьях. Ни то, ни другое не представлялось мне неизбежной судьбой человека. Я уверен: разум, терпение и красноречивая доказательность рано или поздно выведут человечество из мучительного тупика, в который оно себя загнало, при условии, что человечество не уничтожит себя по дороге.

Вера придавала мне известную долю оптимизма, хотя с годами этот оптимизм приобретал оттенок скептицизма, а благодатная цель отодвигалась все дальше. Тем не менее я никак не мог согласиться с теми, кто считал фатальной обреченность людей на страдания. Причины несчастий в прошлом и настоящем очевидны. Бедность, эпидемии, голод как следствия неумения человека совладать с природой. Сюда надо добавить войны, завоевания, гнет, насилие как результат враждебности человека к себе подобным. Несчастья, порождаемые темными желаниями, неутолимость которых ведет к жажде недостижимого процветания. Однако от всего этого есть средства избавления. В современном мире несчастья проистекают от невежества, дурных привычек, предрассудков, страстей, которые человеку дороже, чем счастье и даже сама жизнь. В наш мрачный век я знаю немало людей, возлюбивших свою нищету и смерть — их злит надежда, которую им пытаются предложить. Они считают надежду неразумной и, пребывая в бездейтельном отчаянии, ограничиваются созерцанием собственных бед. Я не могу следовать их примеру. Чтобы сохранить в нашем мире надежду, надо уповать на разум и энергию. Отчаявшимся чаще всего не хватает именно энергии.

Вторая половина моей жизни пришлось на одну из тех больных эпох человеческой истории, когда мир становится хуже и победы, казавшиеся бесспорными, оказываются недолговечными. В годы моей молодости викторианский оптимизм разумелся сам собой. Тогда думали, что свобода и благоденствие постепенно и естественно распространятся по всей земле, а жестокость, тирания и несправедливость будут занимать все меньше места. Вряд ли кого-нибудь преследовал тогда страх перед большими войнами. Вряд ли кто-либо полагал, что XIX век станет всего лишь краткой интерлюдией между прошлым и будущим варварством. Для тех, кто вырос в той атмосфере, приспособиться к миру настоящего было нелегко. И не только эмоционально, но и интеллектуально. Идеи, казавшиеся истинными, обнаружили свою ложность. Не удалось сохранить некоторые дорого доставшиеся свободы. Другие же свободы, в частности в отношениях между нациями, сделались источником катаклизмов. Потребны новые идеи, новые надежды, новые свободы и новые ограничения свобод, чтобы выволить мир из его опасного состояния.

Не могу утверждать, что сделанное мною в социальной и политической сферах имеет большую значимость. Сравнительно легко добиться видимых результатов с помощью догматических и ясных писаний типа коммунистического. Но я, со своей стороны, считаю, что человечество не нуждается в чем-либо догматическом и ясном. Точно так же я совершенно не верю в частичные доктрины, которые касаются отдельных аспектов человеческого существования. Одни считают, что все зависит от государственных институтов и что хорошие институты неизбежно принесут в мир вечное благоденствие. Другие убеждены в том, что нужно изменить сердца, а институты власти — дело десятое. Я не могу разделить взгляды ни тех, ни других. Институты формируют характеры, а характеры изменяют институты. Реформы в обеих сферах должны идти рука об руку. И если отдельные индивиды сохраняют ту меру инициативности и гибкости, которой они должны обладать, им не грозит быть остриженными под одну гребенку или, другими словами, стать винтиками одной машины. Разнообразие необходимо, несмотря на то, что препятствует всеобщему согласию. Призывать к согласию вообще трудно, особенно в тяжелые времена. Возможно, это станет эффективным только после того, как из трагического опыта будут извлечены горькие уроки.

Мои труды близятся к концу, и пришло время, когда я могу обозреть их как целое. Насколько я преуспел в них и в какой мере потерпел неудачу? Я с детства считал, что призван к решению великих и трудных задач. Почти три четверти века назад, в одиночестве гуляя по Тиргартену под холодным мартовским солнцем, я решил написать две книги: одну абстрактную, которая становилась бы все более конкретной, а вторую — конкретную, которая делалась бы все более абстрактной. Обе должны были увенчаться синтезом, где чистая теория сочеталась бы с практической социальной философией. Если не считать финального синтеза, который все еще ускользает от меня, эти книги я написал. Они были высоко оценены и признаны, они оказали влияние на ход мыслей многих мужчин и женщин. В этом плане я преуспел.

Но в противовес этому достижению я должен поставить два поражения, одно внутреннего свойства, другое — внешнего.

Начну с последнего. Тиргартен превратился в пустыню; Бранденбургские ворота, через которые я ступил в него в тот мартовский день, оказались пограничным столбом, разделившим две враждебные империи, готовящие гибель человечеству. Коммунисты, фашисты и нацисты поочередно бросали вызов всему, что я почитал за благо, и в борьбе с ними сгинуло многое из того, что их оппоненты стремились уберечь. Свобода стала считаться слабостью, а терпимость вынуждена была носить рубище предательства. Старые идеалы признаны бесполезными, и ни одно учение, не характеризующееся жестокостью, не заслуживает признания.

Внутренняя неудача превратила мою душевную жизнь в вечную борьбу. Я начинал свою сознательную жизнь с почти религиозной верой в вечный платоновский мир, где математика сияет совершенной красотой, как последняя песнь Дантова «Рая». Я пришел к выводу, что вечный мир — пошл, а математика — всего лишь искусство облекать одно и то же в разные слова. Я начинал с убеждением, что любовь, свободная и важная, может победить без борьбы. Кончилось тем, что я поддержал ужасную войну. Так что и тут и там я потерпел поражение.

И все же под грузом этих поражений я ощущаю нечто, что кажется мне свободой. Может быть, я ошибался в понимании теоретической истины, но я не ошибался, веря в ее существование и в то, что мы должны идти к ней. Я ошибался, намечая путь человечества к свободе и счастью, но не ошибался, веря в возможность свободного и счастливого мира и в то, что стоит потратить жизнь на его приближение. Я жил в стремлении к идеалам — личному и общественному. Личный — ценить благородство, ценить красоту, ценить нежность; окрылять трезвые мысли мудростью инстинктивного прозрения. Общественный — видеть перед собой образ общества, которое надлежит построить, где люди развиваются свободно и где ненависть, алчность и зависть умрут, потому что им нечем будет питаться. Вот во что я верю, и мир со всеми его ужасами не поколебал мою веру.